

Борис Климычев

ЧАСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С БОЕМ

п о в е с т ь

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ «ИИСУСА»

Дядя Петя, материн брат, приехал к нам неожиданно, ранней весной сорокового года. Пять лет его дома не было. Рассказывают, что в детстве дядя Петя все читал книжку «Граф Монте-Кристо», дрался с соседскими мальчишками, часто приходил с разбитым носом. У бабушки Марии Сергеевны на кухне в углу на полочке есть икона, на которой Иисус Христос нарисован. Эта икона — как точный дяди-Петин портрет. Здорово он на Иисуса теперь похож. А раньше за иконой бабушка деньги прятала. Однажды утром встала, а Христос вниз головой стоит. Кинулась проверить — денег нет. И дядя Петя как раз в тот день из дома исчез. В свои пятнадцать лет он был не по годам высокий и крепкий. Теперь он говорит, что его позвал ветер странствий.

Дядя Петя долго странствовал: был в Одессе и во Владивостоке, работал грузчиком, матросом, а однажды даже подменял одного человека, который кормил в зверинце хищников. На груди у дяди выколот крокодил, который сам себя за хвост кусает. А фигура у дяди такая, что, по его словам, скульптор с него статую делал и платил деньги за то, что дядя позировал.

В первый же день после приезда дядя Петя повел себя по-геройски: вступил в схватку с Дюбой. Двадцатилетний этот парень, как и его отец, нигде не работает. Дюбин папаша, говорят, до революции был коннозаводчиком и домовладельцем. Потом у него все отобрали, и побывал он в заключении. Когда вернулся, то занялся рыбалкой, перевозом через речку, а еще на толкучке часто бывает, ходят слухи, что сбывает там краденые вещи. Не зря, наверно, в хибарку на берегу, где живут Дюба с отцом, частенько являются подозрительные личности. Бывает, что пьяный Дюбин отец обходит свои бывшие дома, показывает жильцам кулак и ругается:

— Сволочи! Нравится в чужом доме жить? Я б вас...

И смотрит, словно не глазами, а двумя дырками. Даже жутко становится.

Дюба весь в отца, взгляд у него такой же. Его не только мальчишки, но и взрослые побаиваются.

В тот весенний день Дюба собирал возле речки пятаки за переход. Наша Ямская улица спускается под гору к речке Ушайке, и весной со всей Ямской в речку сваливают вывезенный из дворов снег, сколотый помоечный лед. Вода в Ушайке прет поверх льда, только кое-где торчат горбы навозных куч. Дюба на эти горбы положил доски: хочешь перейти — плати пятак, а нет — топай в обход, за пять кварталов, до Аптекарского моста.

Ребятня собралась на берегу и наблюдала за Дюбиной «работой». К переходу подошла толстая тетка в черном платке, повязанном у самых глаз. Богомольная, видать. Ногой доску пробует и все повторяет:

— Господи, страх-то какой!

Потом тетка вдруг осмелела и быстро побежала по доскам. Дюба стоял на противоположном берегу речки, а дорогу тетке преградил его помощник, мальчишка Юрка по прозвищу Садыс:

— Пятак давай!

Тетка хотела его оттолкнуть, но он так раскачал доску, что она чуть в воду не свалилась, кое-как, на четвереньках, назад спятилась и в воду плюнула:

— Господи! Пятак им еще давать! За свой пятак и утопнешь!

— Не дрейфь, тетка! — крикнул Садыс. — В случае чего свечку поставим!

После тетки на берегу появился здоровенный крестьянин. По его решительному виду было понятно, что платить он не собирается и обратно поворачивать — тоже. Одним махом он вскочил на первую доску и в три прыжка оказался на той навозной куче, где стоял Садыс, оттолкнул его и побежал дальше.

— Пятак уходит! — засигналил Садыс старшему.

А тот и сам уже все понял, не спеша погасил окурок о подошву хромового сапожка и стянул на своем берегу крайнюю доску. Почти добежавший до противоположного берега дядя стал перед потоком, в котором крутилась прошлогодняя солома, перепрыгнуть там впору чемпиону. Крестьянин тряс бородой, обещал всем посворачивать шеи, повернул обратно, а Садыс тем временем убрал доски на своем берегу. Бородач оказался отрезанным с обеих сторон. Пометался он и, делать нечего, кинул Дюбе пятак.

А потом к переправе с той стороны подошел мой дядя. Он ходил в милицию прописываться и решил укоротить обратный путь. Со своих Дюба брать не должен, да ведь дядю Петю на нашей улице давно все забыли.

— Гони, мужик, пятака! — крикнул Дюба.

— Я тебе не мужик, а Петя-Козырь, — ответил дядя, кинулся к доске и вцепился в край. Дюба схватился за другой конец. Перебирая по доске руками, дядя добрался до противника, они схватились по пояс в ледяной воде. Течение сносило их к промоине, а они молотили друг друга и ничего не замечали. И вот дяде Пете удалось ухватить его за ворот и несколько раз окунуть с головой. Внезапно дядя, дико взвизгнув, выпустил Дюбу и, где вплавь, где вприпрыжку, направился к берегу. Палец у дяди сильно кровоточил. Зато Дюба еле вылез, кашлял и воду выплевывал. И впервые он нам показался совсем не грозным, и даже жалким.

Дядя ему сказал:

— Сгинь, хромовый пижон! Чтобы я тебя больше тут не видел с пятаками и досками!

И Дюба послушался: велел Садысу собрать доски, поплелся к дому. Правда, у дома он не вытерпел и крикнул:

— Попомнишь!

— Иди, иди, кулацкая отрыжка! — крикнул на прощанье дядя. — Если меня еще встретишь — сразу в переулочек сворачивай!

Верка Прасковьева, которая живет в нашем же доме, дала тогда дяде свою косынку, чтобы он палец обернул, и, покраснев, сказала:

— Идемте, Петечка, к Софрону, он студент медицинский, у нас живет, он вас полечит.

Я удивился: чего она дяде свою косынку дала? Ей же за это попасть от матери может! И Петечкой назвала! Всего на три года старше меня, шестнадцатый год ей, а воображает!

Пришли к Прасковьевым в полуподвал, они под нами живут. Одна стена нашего дома в гору вкопана, если я из своей квартиры на улицу гляну, то вижу, что, действительно, на втором этаже живу, а в соседний двор погляжу, так окно у самой земли. У Прасковьевых со стороны горы окон вовсе нет.

Верка кликнула Софрона, он появился из своей боковой комнатки. Велел дяде обтереться насухо полотенцем, потом взял его руку, зажал какое-то место, и кровь сразу перестала идти. Дядя морщился, но Софрон быстро залил ему палец йодом и перевязал. Поинтересовался, кто дядю укусил. Верка рассказала.

— Слюна и, возможно, гнилые зубы, — сказал Софрон. — В больницу немедленно...

Дядя Петя ни в какую больницу и не подумал идти. Дома мать сразу же ругаться начала:

— На чужом хребте сидишь да еще перед соседями позоришь, драку устроил!

Дядя сказал, что он не дрался, а защищал свое мужское достоинство. И не виноват он, что у него теперь денежный кризис, раньше он деньги нищим в форточку пачками кидал. Мать махнула рукой, а вечером состоялся семейный совет, на котором было решено устроить дядю Петю в часовую мастерскую.

Дядя Петя надел самый новый из старых отцовских костюмов, и мы отправились в мастерскую «Точмех», что означает — точные механизмы. Дядя теперь там будет учеником. Так решил отец, а он в мастерской главнее всех, он — приемщик. Обычно часы принимает самый опытный мастер, или, как в мастерской говорят, мастер первой руки. В одну минуту надо при заказчике точно узнать, что там внутри у часов испортилось, и цену назвать.

До отца был приемщик, так он на всякий случай брал со всех по самой высокой таксе. Наговорит: чистка нужна, брегет загнуть, колонштейн поправить — и сдерет с заказчика, как с белки. А отец всегда точно определяет; может, кому-то из мастеров это и не нравилось, мол, заказчикам-то все равно не узнать, надули их или нет.

Мастерская расположена в длинном приземистом строении из камня. Одно окно смотрит на проспект, остальные — во двор. Пять мастеров склонились над верстаками, они сидят целыми днями, поэтому кладут на стулья подушечки. Отец, сидит без подушечки — врачи велели. От многолетней сидячей работы появилась у него болезнь, называемая геморроем, и ему лучше сидеть на жестком.

На стенах мастерской, как маленькие зверьки, из стороны в сторону мечутся маятники. Одни часы стрекочут часто, как кузнечики, другие постукивают тихо и размеренно, как капель. Вот сейчас дядя удивится: в мастерской каких только чудес нет! У мастера-крупниста Лени Зубаркина в ремонте такие большие напольные часы, что я в их футляр вхожу, а Ленья за мной дверку закрывает. На верстаке у мастера Бынина можно увидеть часики, циферблат которых похож на маленькую голубую капельку, это часы-брошка. Часы-музыканты играют «Камаринскую», «Степь да степь кругом» и другие песни. Немецкий будильник — в виде старичка в шляпе: через каждый час старичок покачивает головой и насвистывает. В часах-фонтане звонок заменяют струйки: сколько времени — столько струек. А когда Ленья Зубаркин ипподромные часы чинил, то в них колокол звонил так, что на другом конце улицы было слышно.

Мы входим в мастерскую. Ленья Зубаркин топит чурочками круглую печку-буржуйку, он тут самый молодой, вот и приходится быть истопником. Я смотрю на его уши: зажили. Он в самый лютый мороз бегаёт без шапки, и уши у него нередко шелушатся.

Горбатенький Бынин влез на стул и вытаскивает что-то на станочке. Одной рукой крутит колесо привода, в другой держит штихель, резец, сделанный из надфиля. На обрабатываемую деталь Бынин смотрит через лупу, иначе ее не увидишь. Токарные станочки маленькие, мастера иногда их берут домой, нести легко: положил в карман и все. Иной такой станочек приводится в движение смычком, и кажется, что мастер играет на скрипке.

— Осенку точишь? — спрашивает отец Бынина.

— Угу! — не оборачиваясь, отвечает тот.

Ленья заталкивает в печку последнюю чурочку, моет руки.

— Николай Николаевич! Штаневичу опять два обратника принесли, его еще нет, так я принял, — сообщает мастер Исая Богохвалов.

— Вот, Петро, — говорит дяде Пете отец, — учись сразу работать без обратников.

Обратник — это когда клиент отремонтированные часы обратно несет — встали. Переделывать надо бесплатно, доверие к мастерской теряется. У моего отца обратников не бывает. Он делает надолго. Однажды отец учудил: выписал клиенту гарантию на сто лет. Уже лет двадцать, говорят, прошло — часы идут. Мастера спрашивают, что, мол, Николай Николаевич, делать будешь, если часы пройдут, скажем, лет пятьдесят и встанут? А он отвечает: через пятьдесят лет или он, или клиент, кто-нибудь из них обязательно умрет.

Отец дает дяде Пете в чистку большие карманные часы, показывает, как пользоваться отвертками, корнцангами. Подбадривает: мол, в часах всего пять колес. Начинающим всегда так говорят, чтобы не пугались. Колес и правда пять, но, кто не пробовал, пусть попытается их в гнезда вставить и концы не сломать. Концы-то тоньше человеческого волоса! А кроме колес в часах еще много шестеренок и всякой всячины.

Я сажусь рядом с дядей и прошу себе какую-нибудь работу. Карманные часы меня отец давно чистить научил, а про будильники и ходики и говорить нечего. Дядя Петя недовольно морщится, разбирая часы «Павел Буре». Я знаю, что он обязательно колесо или винт потеряет. Мне почему-то даже хочется этого.

К приемному окошечку уже подходят клиенты. Сегодня выходной, но только не у часовщиков, у них по выходным самая работа. Слово «клиент» я услышал, когда еще под стол пешком ходил, мне казалось, что клиент — это тот, кого приклеивают. Мастерам хорошо, когда клиентов много: заработки увеличиваются. А чтобы клиентов много было, нужно быстро и вежливо обслуживать, давать часам точный ход.

В мастерской на валу вращается круглая щетка, ею чистят корпуса часов, затем шлифуют на кожаном круге изобретенной отцом пастой. Циферблат моют теплой мыльной водой и нашатырным спиртом, ваткой, а потом уж пальцами не берут, прихватывают папиросной бумагой. Стекло протирают фланелькой, а затем замшей до блеска. На часах ставят точное время, подают их клиенту, тоже прихватив папиросной бумагой. Если человек раньше не чувствовал, что часы — прибор, требующий бережного отношения, то теперь почувствует. Он свои часы узнать не может. После этого он только в эту мастерскую идет да еще другим про нее расскажет.

Дядя Петя кряхтит, сопит, нервничает. Трудно с непривычки. У нас и мать часы умеет чистить, а дядя даже разобрать механизм не может. А тут еще по мастерской перезвон пошел. Одно дело, когда один будильник зазвенел, здесь же сотни часов: с боем, настенных, напольных, настольных — любых. Некоторые не только часы, но и четверти часа отбивают, будильники на разные голоса заливаются, музыкальные часы наигрывать начали, прямо — оркестр. Мастера и внимания не обращают: привыкли. Только Леня Зубаркин голову склонил, прислушивается:

— Английским надо бы молоточек подрегулировать, мелодии настоящей нет.

— Стрелочку вам? Сейчас будет! — говорит отец клиенту. — Бынин! Сделайте гражданину стрелку!

Бынин поворачивается на вертящемся табурете, берет часы, моментально высвобождает механизм из корпуса, ставит на нитбанк, ударяет сверху пуансоном, вновь заключив механизм в корпус, прокручивает стрелки, убеждается, что они ни за стекло, ни за циферблат, ни друг за друга не задевают, и передает часы отцу, тот — клиенту. Ремонт произведен при заказчике, квитанцию не выписывают, отец смахивает рублевку в ящик. Я знаю: к полудню там наберется столько, что хватит всем на обед. Этот ящик так и называют — обеденный. Дядя Петя чистит щеточкой платы механизма, морщится от запаха авиационного бензина. Это что! Когда бензина не было, эфиром чистили, от него спать хочется.

— Хватит, наверно? — с надеждой спрашивает дядя Петя. Бынин берет у него из рук платы, проводит по ним уголок белоснежного носового платка, уголок темнеет:

— Не телегу чистите, молодой человек!

Дядя Петя пристально, словно удав, смотрит на Бынина, но все же вновь берет щетку и с остервенением трет ею плату. Я вижу, он с трудом удерживается от того, чтобы не трахнуть механизм об пол. У меня тоже такое бывало, но я отца боюсь. А дядя почему боится? Он ведь человек необычайной храбрости.

Вычищенные детали кладут на стекло и покрывают колпаком, чтобы пыль не садилась. Ходу часов может помешать и невидимая глазу пылинка.

Вновь затрезвонили, заиграли часы. Отец вешает на дверь табличку: «Закрывается на обед». Леня Зубаркин с огромной хозяйственной сумкой отправляется в гастроном.

— Одна нога здесь, другая — там! — кричит вслед отец. А Леня впрямь скороход: не успели мы руки помыть, он уже стучится, ставит сумку к ногам отца:

— Вот, Николай Николаевич!

Отец вынимает из сумки кольца колбасы, сыр и несколько бутылок пива. Для меня припасен лимонад. Дядя Петя, я вижу, повеселел. Он вытягивает из кожаного футляра сверкающий финский ножик и режет колбасу — быстро, красиво, ровными тонкими кружочками, наискосок. Бутылки распечатывает одним ловким хлопком. Да, тут он мастер первой руки!

— А стаканы где у вас, люмпены?

Сразу видно — не часовщик, мастера всегда пьют пиво из колпаков, которыми детали от пыли укрывают. Отец вручает каждому по колпаку и говорит:

— Ну, вот, ребята, я вас всех околпачил!

Колпаки звенят протяжно, торжественно, стакан сроду так не зазвенит. Отец придвигает колбасу поближе к Зубаркину и говорит:

— Леонардо, навинчивай!

Шутник отец: ведь это ученый был такой — Леонардо да Винчи. Отец говорит, чтобы было похоже и смешно. Словами он играет при каждом удобном случае. Однажды гости собрались, мать в комнату вошла, отец вскочил и объявил:

— Матрона лен дре, р-роман те ля пасе!

Можно подумать, что какую-то заграничную герцогиню-объявил, а если с украинского перевести эти слова, то получится, что Матрена лен дерет, а Роман теленка пасет. Мать тогда сильно рассердилась, она все на родителей обижается, что ее так называли. А бабушка Мария Сергеевна объясняет, что никто не знал, что моя мать городской станет, а у них в казачьей станице имя Матрена было самое модное. Мать даже хотела переименоваться, но оказалось — хлопотно, так она Матреной и осталась, но всем говорит, что Мария Ивановна.

Отец чокается пивом с дядей Петей:

— За твою карьеру, Петрум-перетрум! С сегодняшнего дня ты встаешь на причал. Сороковой год — дата круглая, легко» будет считать...

Зубаркин зашторил окно и чем-то побрякивает в темноте. Я знаю: сейчас он будет показывать кино. Он давно уже отремонтировал киноаппарат, но все не выдает заказ, говорит, что не готово, а мастера чуть не каждый день кино смотрят. Лента у Зубаркина всего одна: третья часть картины Гаврош», я смотрел уже раз пять.

Вот Зубаркин навел на белое полотно резкость, но изображение вышло вверх ногами, перевернул пленку — картина пошла наоборот: то, что должно быть в конце, идет вначале.

— Сапожник! — кричат мастера. — На мыло!

— Я вам что, киномеханик? — оправдывается Ленья. Но вот картина пошла правильно. Все притихли.

Вспыхивает свет. Отец допивает пиво. Я спрашиваю:

— Папа, это правда было или выдуманно?

— Что? — спрашивает он. — Выдуманно? Нет, Коля, не выдуманно. Я в твои годы вроде того Гавроша в рваном ходил. А тебе пора домой, поди, почитай учебники...

Дались ему учебники! Перешел я в пятый класс, говорят, что там заниматься будет труднее. Сейчас лето, до начала занятий далеко, успею еще начитаться. Отцу самому учиться не пришлось, так он мечтает, что я получу образование, не хочет, чтобы я тоже часовщиком был. Они с матерью все спорят, кем я буду, пытаются выяснить, какие у меня наклонности. Приглашали знакомого художника Пинегина, а он листок мне дал и говорит:

— Нарисуй самолет!

Я нарисовал, он посмотрел, сказал, что это вид сбоку, и предложил нарисовать самолет в фас, то есть вид спереди. Я художнику ответил:

— Никогда самолетов спереди не видел, они всегда боком летают.

Засмеялся Пинегин и перестал приставать. Ну, я-то понял, что мой самолет ему не понравился, потому что мать с отцом огорчились. А чего огорчаться и чего допытываться — кем я быть собираюсь? Мне пока и так хорошо — никем. Ну, а чтобы не привязывались больше, я сказал, что, наверное, буду полярником.

2. ПОРОДНИТЬСЯ С ЭС-КУ-ЛАПОМ

Мы едем в Казахстан в гости. Мы породнились с эс-ку-ла-пом! Это тот самый Софрон, что жил у Прасковьевых. Он окончил медицинский институт, его направили работать в Казахстан. Перед отъездом он женился на маминой старшей сестре — тете Шуре.

Они увезли с собой и бабушку Марию Сергеевну. Дескать, молодоженам помощь нужна, я уже большой вырос, могу без бабушки обходиться. Матери очень не понравилось, что бабушку от нас увезли. Она ворчала: все, мол, для этой Шуры,— но потом успокоилась.

В последнее время Софрон часто заходил к нам. Одет он был в толстовку, которую сам сшил без машины, просто иголкой, и полосатые брюки, на ногах — тапочки. Ходил бесшумно, потому что тапочки обуты на шерстяные носки, которые ему тетя Шура связала. Я восхищался, что у Софрона тапочки блестят, а мать сказала, что в них можно заработать ревматизм. Ну и что? Софрон сам теперь врач — вылечится, а ходить в таких тапочках дешево, легко и красиво.

Родом Софрон из зауральской деревни. Родители у него от холеры померли, он мечтал стать доктором, а сам батрачил у богатого чуваша. Школу окончил только к тридцати годам и приехал в Томск, поступать в мединститут. Два раза не приняли, в третий раз приняли.

Тетя Шура хвалила Софрона, он, мол, во многом похож на Ломоносова. А мать сказала, что он ненормальный, потому что пригласил нашу семью в анатомический музей. Пришли мы, дверь открываем, а навстречу скелет протягивает руку, вроде здоровается. Это медицинские студенты блок сделали: один конец веревочки к двери привязали, другой — к костяной руке. Еще мать сказала, что брезгует, когда приходит Софрон, так как он подрабатывал по ночам в морге. Тетя Шура стала обвинять мать в непонимании научных целей. А мать назвала тетю Шуру теркой и сказала, что ей никого лучше Софрона и не найти. С неделю они не разговаривали.

У тети Шуры, действительно, все лицо в мелких ямочках. Но разве она виновата, что раньше оспу не прививали? Мать почему-то стесняется, что у нее и отца нет высшего образования. Бывало, придет к нам какой-нибудь инженер, и хоть он ходит всю зиму в демисезонном пальто, хоть шарфик у него матерчатый, а ботинки стоптаны, мать смущается, боится что-то не так сказать или сделать. Как же — человек с высшим образованием! А чего ей смущаться? Хоть и выросла в казачьей семье, в городе живет давно, любит книжки, театр. Как стол сервировать, в какой руке вилку, в какой ножик держать — все знает. И все же... Уйдет такой гость, а она сидит, сидит, задумавшись, да и скажет:

— Шурку учили — рябая. А Мотря, мол, красивая, и так замуж выйдет. Вот я и вышла...

Она любит во всем первенство. Вот что ее мучиться заставляет. И Софрона потому невзлюбила: как же — сестра не только сама образование получила, но еще и за образованного метит выйти!

Перед свадьбой отец, я и дядя целый день сидели за большим кухонным столом, лепили пельмени. Зимой-то они у нас готовые есть: настряпаем сразу много, заморозим в кладовке и, когда надо, варим. А тут пришлось на всю свадьбу стряпать.

Отец лепил пельмени и пел:

— Породнимся с эс-ку-лапом! Эску-лапом, лапом, лапом! А мать, хоть и стояла ко мне спиной, все же догадалась, что я ем фарш, и заругалась:

— Ты что? Хочешь, чтобы черви в животе завелись? Сколько можно говорить, что сырой фарш есть нельзя?!

А фарш из говядины пополам со свиной, с луком, с чесноком, с перцем, замешенный на молоке, издавал такой запах, что невозможно было удержаться.

У отца пельмени выскакивали из пальцев один за другим, аккуратные, красивые. Дядя лепил медленнее, я его мог обогнать, а вот мать взялась бы, так никто не поспел бы за ней. Она их делает по всем правилам. Слишком тугой пельмень будет не сочный, а «слепой», без дырочки, по ее мнению, некрасивый, за такую работу она выругает, а пельмень в помойное ведро бросит.

Пришли жених с невестой. На Софроне — сшитый специально к свадьбе костюм, первый в его жизни.

— Ехать пора, — сообщил жених. — Уговорили Дергуна, а вы еще не готовы.

— Сейчас! — с готовностью ответил дядя Петя, бросая вилку, поспешно снимая фартук.

Дергун — живущий у нас в ограде легковой извозчик — украинец, человек нервный и упрямый. Если он лошадь распряг и собрался в пивную или в баню, будь хоть трижды сосед, хоть тысячу давай — не повезет. У Дергуна был банный день, но Софрон его как-то уговорил.

По случаю торжества Софрон надел золотое пенсне. Хвалился :

— Преподаватели к свадьбе поднесли. Таких и в Москве не достанешь.

Бабушка утирала фартуком слезы:

— Говорила я, фату пошить. Господи! Как же это? Невеста — и без фаты.

— Бросьте вы, мама, — хмурилась тетя Шура. — Какая там еще фата? Чтоб люди смеялись? Мать загадочно сказала:

— Баба с воза — кобыле легче.

Вышли все на крыльцо. Дергун свою лошадь в фазтон запряг, на голове извозчика цилиндр, в каких обычно капиталистов рисуют, правда, верх оторвался, но Дергун его белыми нитками пришил.

В Томске извозчиков — тьма. Раньше, говорят, на гербе города была изображена вздыбленная лошадь. Зимой и летом на стоянках толпы извозчиков. Зимой вы сядете в высокую кошевку, застегнете полость из медвежьего меха, извозчик взмахнет кнутиком и — только свист стоит. Летом пролетка пружинная, сидеть мягко. Извозчики щеточками пыль с сиденья сбивают, зазывают клиентов с прибаутками. Это — легкачи. А есть еще ломовые, они грузы возят и сами мешки таскают. Иной ломовик кулаком быка убить может, и лошади у них особенные. Отец рассказывал: запрягут битюга, положат на телегу сто пудов, что потеперешнему полторы тонны означает, а ехать — в гору. Битюга и стегать не надо, ломовик только чмокнет губами, скажет тихонько: «Н-но», глаза у битюга кровью нальются, рванет — и телега уже на горе.

У Дергуна лошадка небольшая, монгольской породы. Он ее целыми днями чистит, ухаживает за ней, как за часовым механизмом.

Фазтон тронулся, выехал со двора. Юрка Садыс забежал перед фазтоном и крикнул:

— Жили-были дед да баба, была у них курочка-ряба!

Тетя Шура так на него посмотрела, что любой другой присел бы от страха. А ему хоть бы что.

На свадьбу пришли Веркины родители. Эти Прасковьевы почти такие же старые, как моя бабушка, хотя Верка всего на три года меня старше. Фаддей Зиновьевич — пряничный мастер. Фабрика у нас рядом, от нее дым и тот медом пахнет. Спрашивал я Фаддея Зиновьевича, много ли он конфет и пряников ест. Оказывается, терпеть их не может. А нам, помню, раз принес такого большого пряничного коня, что мы его всем двором ели. Сам сделал. Он вырезает из березы штампы, при помощи которых пряники делают, очень этим гордится.

Прасковьев поднес жениху и невесте два огромных пряника. На одном было оттиснуто: «Софрон», на другом: «Александра».

Часовщики явились в полном составе и подарили тете и Софрону настольные бронзовые часы. Зубаркин их на толкучке купил, наладил, очистил нашатырным спиртом с мылом.

Все пили водку и вино, кроме Софрона. На уговоры он отвечал :

— Сам не пью и вам не советую. Стопроцентный вред для организма — разрушаются печень, сердце, нервы и почки...

Потом началось самое интересное. Дядя Петя вдруг объявил:

— Последнее сообщение! К нам едет экспрессом артист из Одессы, любимец дам по кличке Адам!

Дядя Петя открыл вьюшку голландки, прислушался. Из вьюшки вылетел голубой шар. Дядя приставил к нему папиросу, шар лопнул, из него вывалилась картонная фигурка — усатый человечек с вытаращенными глазами. Руки и ноги фигурки в суставах скреплены ниточками.

Дядя Петя сел на пол, раздвинул ноги и поставил фигурку между ними; к моему удивлению, она не упала, хотя дядя ее не поддерживал.

— Маэстро! — крикнул дядя Петя. Отец взял гитару. Леня Зубаркин — балалайку, фигурка под музыку выделяла кренделя ногами, махала руками. Дядя Петя к ней не прикасался, только палочкой, вроде дирижерской, помахивал. Тут уж не только я, все удивлялись.

— Он на магните работает?

Дядя Петя подмигнул и показал пришитую к штанинам черную нитку. Просто! Когда дядя сел и раздвинул ноги — нитка натянулась, к ней он незаметно прицепил фигурку. Палочкой по нитке стучал, фигурка вихлялась. Брюки черные, нитка черная, надо только подальше от всех, в темном углу, садиться.

...Приятно лежать в вагоне на полке и вспоминать. Но вдруг что-то загрохотало. Я взглянул в окно, а там замелькали перекладины моста в виде больших букв «Х». Глянул вниз — река, по ней пароход плывет, из трубы дым пускает, словно закурил папиросу, люди на палубе машут руками, я тоже хочу им помахать, а их уже нет; я вижу домик, возле него стоит дядька и держит в вытянутой руке свернутый в трубку флажок.

Отец с лупой в глазу склонился над вагонным столиком. Часовщик, куда бы ни ехал, всегда при себе имеет инструмент. Он не плотник, он может свой инструмент поместить просто в кармане. Вдруг у Софрона часы испортятся или появятся новые знакомые, у которых часы будут сломаны. Узнают, что часовщик, и тотчас заводят речь о том, что им надо часы отремонтировать. Часы ведь ломаются часто. Оттого, что хрупкие, оттого, что люди не умеют с ними обращаться.

Отец не зря вывесил в мастерской правила обращения с часами. Пусть люди читают, пусть меньше денег на ремонт тратят. Мастера косились, мол, раньше за такие вещи хозяин мастерской надавал бы по шее. А отец говорит, что владелец часов — наш трудовой человек, зачем ему зря тратиться? Пусть знает, что часы надо заводить раз в сутки в одно и то же время, но не до отказа, что перед умыванием часы надо снимать, что нельзя колоть дрова, когда часы у тебя на руке. А если часы остановились, так пусть не лезет в них сам, не дает в ремонт любителю, потому что если ремонта на пять копеек, то станет — на двадцать рублей. И в профилактическую чистку часы надо отдавать раз в три года, даже если они идут вполне нормально.

Вообще-то отец в отпуске не собирался работать. Они с матерью решили, что ему надо полностью отключиться от всех дел. Он взял инструмент на всякий случай. Мало ли? Но ехала с нами в купе женщина — у нее из часов головка выскочила. Были тут ахи да охи. Отцу слушать надоело, там и дела-то всего — один винтик подвернуть. Он взял да и вставил головку на место. И вот та женщина давно сошла, а к отцу все подходят клиенты из всех вагонов, он отказывается, а они не отстают. Чтобы отвязаться, приходится брать часы, починять. А клиенты идут все новые и новые.

Вдруг я замечаю неподалеку от поезда бредущих гуськом верблюдов.

— Романс! — кричу я. — Романс! Бадридзе!

— У тебя что, жар? — осведомляется мать.

— Ничего не жар. Помнишь пластинку Бадридзе? Он там поет: «И вдаль бредет усталый караван». Помнишь? Так посмотри в окно, вон он — бредет! Все смотрят в окно.

За окном проплывает земля, совсем не похожая на нашу, томскую. Там прямо к поезду ели подступали, можно было из окна рукой за ветку схватиться, а здесь — бесконечная равнина, изредка промелькнут чахлые кустики, и опять только трава. А вот подъехали к такому месту, где вообще только песчаные холмы. Эх, сколько песка вокруг! Тут можно песочные часы выпускать целыми тысячами. Такие часы я у Софрона видел, это он кому-нибудь градусник поставит или горчичник, и нужно ему, чтобы ровно десять минут прошло.

На одной из остановок я заметил на перроне желтолицего узкоглазого казаха. Сроду таких людей не видал, только на картинке. А дядя Петя сбегал в ларек за папиросами и, когда дежурный зазвонил в колокол, вдруг подошел к желтолицему, снял с него огромную треухую шапку и стал примерять. Казах улыбался. Но вот — поезд трогается, и дядя прыгает на подножку, позабыв снять треух. Желтолицый бежит по перрону. Мать высунулась в окно и кричит:

— Петька! Не смей! Отдай сейчас же!

Дядя нехотя снимает треух и кидает казаху, потом входит в купе:

— Ну, чего ты? Я ведь так, попугать только. А вообще добрый малахай, лисий. Вот бы в Томске по проспекту прогуляться в таком! — мечтательно говорит дядя.

Верблюдов уже не видно, я влезаю на верхнюю полку, и на меня наваливается дремота. Мне видится дядя Петя в лисьем малахае, ведущий по пустыне на веревке караван горбатых верблюдов, все они размеренно раскачиваются. Вдруг крайний из них оборачивается и изо всех сил ударяет дядю Петю лбом. За ним бросаются остальные, все кричат:

— Бейте лучше! Лучше! Лучше!

В страхе просыпаюсь. По вагону идет проводник и выкрикивает ;

— Щучье! Щучье! Щучье!

— Подъезжаем,— говорит мать,— собирайся.

На перроне все бегают, размахивают руками и громко кричат. Впечатление такое, будто драка началась, но драки никакой нет, просто народ здесь привык так разговаривать. В этой суматохе неожиданно появляется Софрон. На голове у него тюбетейка. Лицо стало круглое, живот вроде тоже увеличился. Я ему говорю:

— Ты чалму носи, а тюбетейку мне подари. Софрон смеется. Он ведет нас к лошадке, впряженной в телегу, где постелено сено:

— Вот наш больничный транспорт. Рассаживайтесь.

Сам он садится на передок, взмахивает кнутом, и мы трясемся на телеге, аж зубы стучат. Да, это вам не пролетка, не дергуновский фаэтон! А станица, хоть это слово похоже на слово «столица»,— всего несколько длинных пыльных улиц, которые тянутся от вокзала куда-то вдаль. По одной из них мы едем, а за нами ползет белая туча пыли. Домишки на улице все маленькие, сделаны из глины, а вместо заборов плетни, сквозь которые видно, как в огородах корчится тощая картофельная ботва; почти в каждом дворе наискось торчит длинная палка, это колодцы с журавлями. Пыль скрипит на зубах.

Мать морщится:

— Захолустье... А еще писал, что вторая Швейцария... Между тем телега въезжает на холм, Софрон показывает вперед кнутом:

— Есть Швейцария! Вон она!

Я вижу поросшие сосняком каменистые склоны, кое-где из бора выглядывают крыши. А оглянешься назад, там, за вокзальчиком, голая, как ладонь, равнина.

...У Софрона свои порядки. Сперва он нас на озеро купаться повел, да не шагом, а бегом, локти согнул, через плечо — полотенце, ногами тощими семенит и покрикивает:

— Не отставать! Делай, как я!

Прибежали. Горы там такие, что я бы их всю жизнь рассматривал. Все они из камней состоят, есть камни величиной с двухэтажный дом, есть размером с дергуновский фаэтон, есть поменьше. Все цветом разные, мхом разноцветным обросли, друг на дружке лежат ступенями,

пирамидами, меж ними травы пробиваются, сосны растут. Смотришь, и не верится, что эти камни сами по себе так лежат, кажется, что их нарочно некий силач так взял и сложил.

Горы эти сопками называются, озеро среди них лежит, как большое чисто вымытое блюдо. Вдали видна синяя гора, так ее Синюхой и назвали, дальше есть еще Белуха, а несколько гор, соединенных вместе, называются Спящим рыцарем. Приглядишься — похоже на человека, который на спине лежит, и руки на груди сложил. В озере вода даже в августе ледяная, но зато, как сказал нам Софрон, очень чистая. С сопки в воду множество камней нападало, можно залезть на такую глыбу полежать, позагорать.

Помылись мы, позагорали, проголодались ужасно: там воздух такой, что всегда есть хочется. Прибежали обратно.

Бабушка Мария Сергеевна, конечно, уже и поесть приготовила. Все сели за стол. Отец быстро выхлебал суп. Протянул тарелку бабушке:

— Плесни-ка, тетенька, в мою печальницу! — Он вообще всегда так говорит, когда просит добавки, а что такое печальница — я не знаю. Сказал он так, а бабушка на Софрона смотрит. Он сказал:

— Вы, товарищи, будете отдыхать под медицинским контролем. Переедание очень вредно для организма. У меня все нужные вам калории и витамины рассчитаны. Первого больше нельзя, а рисовой каши вам сейчас Мария Сергеевна положит.

Поели не поели, а обед закончился. Отец сунул руку в пиджак за папиросами, а Софрон и говорит:

— Всю эту гадость я в туалет выбросил. Вы должны хоть месяц по-настоящему, по-человечески отдохнуть...

Мне сразу стало ясно, что ни отцу, ни, тем более, дяде Пете все это не понравилось, дядя Петя даже заявил:

— Во всем цивилизованном мире принято гостей встречать с бутылкой на столе.

Софрон велел всем почистить зубы и прополоскать горло слабо-розовым раствором марганцовки. Пообещал и бутылку: дескать, через час всем можно будет выпить по стакану минеральной воды.

В тот день мы еще в бор по грибы сходили, потом вечером еще раз в озере искупались, а ровно в десять Софрон приказал всем спать. Ужин был совсем легким, я и то не наелся: ватрушка и стакан компота. Я слышал, как дядя Петя ворчал:

— Академик белобрысый! Интеллигент в первом поколении! Все — по пунктам. Сдыхай тут с голода!..

Я уже засыпать стал, когда мне какой-то шорох послышался. Смотрю — в шелку свет пробивается. Я встал, дверь приоткрыл и обрадовался: на кухне, на полу, около духовки сидели все наши и вместе с тетей Шурой черпали из кастрюли жирную похлебку. Отец прямо из черпака хлебал, дядя Петя до ушей в сале вымазался, кость обгладывал.

Я тоже к этой компании подсел, баранины наелся, немножко и кумыса дали, но мне показалось, что тетя зря его хвалила, мылом отдает, добро бы туалетным, а то — хозяйственным.

Так стали мы жить. Софрон все продукты на весах вешает, а мы потом потихоньку без весов до отвала наедаемся. Пополнили. И Софрон был довольнехонек:

— Видите, что значит научно организованная диета?

Дядя с отцом мучились без курева и без выпивки. Стали они на щучинский рынок ходить, выпьют там по стопке, накурятся, купят жареных семечек и шелкают, чтобы запах отшибло.

Отцу и здесь стали приносить часы. Началось с того, что Софрон попросил секундомер наладить. Был в Щучьем мастер-любитель — разобрать его разобрал, а собрать не смог. Ведь у секундомера система сложнее, чем у обычных часов. Принес этот горе-мастер Софрону его

секундомер в разобранном виде, все детали аккуратно завязаны в носовом платочке. Софрон сказал однажды отцу:

— Отпуск есть, отпуск. Я, как врач, все это хорошо понимаю. Но мне нужно у больных пульс считать, без секундомера я никак не могу.

— Пустяки! — отец вдел в глаз лупу. И, действительно, через полчаса секундомер ожил, красная секундная стрелка бодро заскакала по циферблату.

— Чудеса! — изумился Софрон. — Вы часовой профессор-хирург, никак не меньше!

Если бы он это только отцу сказал. Не утерпел Софрон, в больнице похвастал. А через день к отцу потянулись заказчики, и каждый говорил:

— Вся надежда только на вас. Мне без часов — никак!

Один клиент оказался пекарем. Если бы отец не починил ему будильник, он проспал бы — он должен приходиться на работу к четырем утра, — и вся станица осталась бы без хлеба. Другой клиент был местным телеграфистом, третий тоже занимал какую-то важную должность, при которой без часов не обойтись. А один молодой казах сказал, что ему девушка назначает свидание в сопках, а он не может прийти точно в назначенный час, потому что «сагат» испортился.

Вечерами Софрон рассказывал о больнице. Он тут единственный хирург и главврач одновременно. Тетя Шура заведует родильным отделением.

У Софрона дома в маленькой комнатке есть музей: в банках из-под варенья в формалине плавают две опухоли, которые он у больных вырезал. Он говорит, что со временем экспонатов будет много.

Отец рассказал, что и он сначала думал создать что-то вроде музея. Мало ли ему разных диковинных часов встречалось? Починял он и башенные часы девятнадцатого столетия. Починял часы-луковицу, вроде кулибинских, старинные. Попали раз в ремонт стенные часы, где гири были не на цепях, а на жильных струнах. Струны эти намотаны на барабаны, барабаны вращаются, струна раскручивается, гири опускаются. Но отец сказал, что часы не экспонаты. От опухоли, кроме научной, никакой другой пользы нет. А часы, пусть они и восемнадцатого столетия, если их хорошо починить, еще долго будут служить людям. А ему и одного хронометра хватит, чтоб по нему точность хода других часов проверять.

Мы прожили в Щучьем около месяца, и к концу нашего пребывания клиентов у отца стало меньше, потому, наверное, что он починил все неисправные часы в этой станице. Мы еще много раз купались в озере, загорали на берегу. А когда уезжали, Софрон на прощанье сказал, чтобы мы всегда соблюдали диету. И мы поклялись, что будем соблюдать.

Поезд тронулся, перрон побежал в обратную сторону, и на нем остался размахивающий тюбетейкой Софрон. На первом же полустанке дядя сбегал на базарчик, принес килограммов пять жареной баранины, несколько пучков лука и бидон кумыса. Всю дорогу мы что-нибудь жевали и смотрели в окно. Когда возле станции Тайга показались елки, мы все приткнули носы к стеклам. Очень родными показались нам эти елки.

3. СНОВА ДОМА

В городе у нас несколько часовых мастерских, и фурнитуру, то есть, запасные часовые части, доставать трудно. Вот, скажем, один из мастеров достал по случаю много часовых стрелок и знает, что у другого есть пружины. Он идет к нему и меняет пружины на стрелки. Мастера бывают разные. Есть крупянисты, то есть такие, которые могут только крупные часы починять: будильники, ходики, настольные часы. Есть специалисты по карманным часам, другие — по ручным. Мастера, который может выполнять любые работы, называют мастером первой руки.

Часовщики создают себе рекламу. У одного на вывеске написано: «Ремонт часов с гарантией». Заказчик идет, думает — здесь надежно. Действительно, ему тут выпишут гаран-

тийное обязательство на шесть месяцев. И все шесть месяцев клиент будет бегать сюда — часы останавливаются. Весь шестимесячный срок часовщик будет переделывать свою работу, как сказано в гарантии, бесплатно. Себя и клиента замучает. Вот и выходит, что не всегда можно вывеске верить. Чаще всего бывает так: чем хуже мастер, тем красивее и внушительнее себе вывеску заказывает. В «Точмехе» вывеска не очень броская, зато сидят там большие мастера своего дела,

В последнее время отец стал долго засиживаться в мастерской — заказ сложный попался. Приехала на дергуновском фэтоне старушка в старомодной шляпке, с которой на лицо свисала коричневая сеточка. Отец мне потом объяснил, что такая сеточка называется вуалькой.

Старушка приподняла двумя пальцами вуальку, заглянула в приемное окошечко и пожаловалась:

— Я всех часовых дел мастеров объехала, и никто не может выполнить мой заказ. Неужели не осталось настоящих умельцев? Неужели отмерла старинная профессия?

Отец всяких заказчиков видал, потому коротко сказал:

— Покажите, что у вас? — и протянул руку. Старушка вышла из мастерской к фэтону:

— Извозчик! Будьте настолько добры, занесите это в мастерскую. Осторожнее, прошу вас! Да осторожнее же. О, боже!..

Вошел Дергун, у него под мышкой было нечто продолговатое, завернутое в старинное стеганое одеяло. Сверток в приемное окно войти не мог, пришлось отворить дверь, старушка вошла вслед за Дергуном и все повторяла:

— Ах, осторожнее! Я вас умоляю!

Положили сверток на пол, развернули одеяло. В нем были деревянные часы, циферблат со старинными картинками: отец объяснил потом, что это — знаки зодиака. Корпус часов весь состоял из завитушек, удивительный был корпус, никогда, ни до этого, ни после, я не видал ничего подобного. Но мастеров этим не удивишь, мало ли какие бывают у часов корпуса и циферблаты. А вот когда отец вынул механизм, все мастера стали кружком и долго молчали.

Старушка сказала:

— Ну, конечно, и здесь мне ничего утешительного не скажут. Это ведь — восемнадцатый век. И сейчас нет такого умельца...

Отец даже кончик языка высунул, когда механизм осматривал. Он так всегда делает, когда выполняет очень сложную работу. Старушка все не могла успокоиться:

— Ну, конечно, и здесь не помогут. Теперь у всех — план.

А это антикварная вещь, наша фамильная вещь. И мой покойный муж Максимилиан...

— Та знал я твоего мужа! — неожиданно вмешался Дергун. — Никакой не Максильян, а обыкновенный Максим. Это он, как на тебе женился, барина из себе корчить начал!

Старушка покраснела:

— Извозчик, я прошу вас не забываться!

— Ото ж и есть, шо я ничего не забувал... Отец взял квитанционную книжку:

— За часами придете не скоро. Потребуется месяц, чтобы их восстановить и ход проверить. Механизм изготовлен из дерева.

За ремонт он со старушки взял совсем немного, как за обычный, хотя знал, что придется с часами изрядно повозиться. Он мог бы отремонтировать за это время десяток обычных часов, план выполнить и заработать. Но он считал, что авторитет мастерской тоже дорого стоит. Кроме того, как он сказал, про такой ремонт можно будет после внукам рассказывать. Часам-то почти три века!

Мастера в «Точмехе» вообще засиживаются поздно. И почти все они стараются отремонтировать часы на совесть. Только у дяди Пети пока еще плохо получается. Нетерпелив слишком. Точит, точит ось и вдруг как шваркнет ее вместе со станком об пол! Концы у оси такие, что простым глазом не увидишь. Нужно с час, а то и больше доводить ось до нужного диаметра и замерять ее микрометром. Вот, кажется, уже довел ось до кондиции, чуть-чуть еще

подточить осталось. Резец, сделанный из старого надфиля, по-немецки грабштихель чуть дрогнул в пальцах. И все! Отскочил конец оси! Как тут не взбелениться?! Но в том-то и дело, что у мастера должно быть терпение необычайное, осторожность сверхчеловеческая чувствительность в пальцах должна быть, как у хорошего скрипача.

А когда кончится работа, в предвыходной день, мастера нередко идут в ресторан в городской сад. Там поужинают, погуляют вместе, поговорят, потом веселые домой расходятся.

Мы с матерью в такой день нередко к концу работы приходим в мастерскую, вместе с мастерами отправляемся гулять.

Вот пришли мы к семи вечера в «Точмех». Отец запирает дверь на тяжелые висячие замки. Мастера прихорашиваются. Кто запонки, кто галстук поправляет. Двинулись вперед по проспекту шумной компанией. Только мастер Штаневич сказал, что ему домой надо. Клиент будет бегать сюда — часы останавливаются. Весь шестимесячный срок часовщик будет переделывать свою работу, как сказано в гарантии, бесплатно. Себя и клиента замучает. Вот и выходит, что не всегда можно вывеске верить. Чаще всего бывает так: чем хуже мастер, тем красивее и внушительнее себе вывеску заказывает. В «Точмехе» вывеска не очень броская, зато сидят там большие мастера своего дела,

В последнее время отец стал долго засиживаться в мастерской — заказ сложный попался. Приехала на дергуновском фаэтоне старушка в старомодной шляпке, с которой на лицо свисала коричневая сеточка. Отец мне потом объяснил, что такая сеточка называется вуалькой. Старушка приподняла двумя пальцами вуальку, заглянула в приемное окошечко и пожаловалась:

— Я всех часовых дел мастеров объехала, и никто не может выполнить мой заказ. Неужели не осталось настоящих умельцев? Неужели отмерла старинная профессия?

Отец всяких заказчиков видал, потому коротко сказал:

— Покажите, что у вас? — и протянул руку. Старушка вышла из мастерской к фаэтону:

— Извозчик! Будьте настолько добры, занесите это в мастерскую. Осторожнее, прошу вас! Да осторожнее же. О, боже!..

Вошел Дергун, у него под мышкой было нечто продолговатое, завернутое в старинное стеганое одеяло. Сверток в приемное окно войти не мог, пришлось отворить дверь, старушка вошла вслед за Дергуном и все повторяла:

— Ах, осторожнее! Я вас умоляю!

Положили сверток на пол, развернули одеяло. В нем были деревянные часы, циферблат со старинными картинками: отец объяснил потом, что это — знаки зодиака. Корпус часов весь состоял из завитушек, удивительный был корпус, никогда, ни до этого, ни после, я не видал ничего подобного. Но мастеров этим не удивишь, мало ли какие бывают у часов корпуса и циферблаты. А вот когда отец вынул механизм, все мастера стали кружком и долго молчали.

Старушка сказала:

— Ну, конечно, и здесь мне ничего утешительного не скажут. Это ведь — восемнадцатый век. И сейчас нет такого умельца...

Отец даже кончик языка высунул, когда механизм осматривал. Он так всегда делает, когда выполняет очень сложную работу. Старушка все не могла успокоиться:

— Ну, конечно, и здесь не помогут. Теперь у всех — план.

А это антикварная вещь, наша фамильная вещь. И мой покойный муж Максимилиан...

— Та знал я твоего мужа! — неожиданно вмешался Дергун. — Никакой не Максильян, а обыкновенный Максим. Это он, как на тебе женился, барина из себе корчить зачал!

Старушка покраснела:

— Извозчик, я прошу вас не забываться!

— Ото ж и есть, шо я ничего не забувал... Отец взял квитанционную книжку:

— За часами придете не скоро. Потребуется месяц, чтобы их восстановить и ход проверить. Механизм изготовлен из дерева.

За ремонт он со старушки взял совсем немного, как за обычный, хотя знал, что придется с часами изрядно повозиться. Он мог бы отремонтировать за это время десяток обычных часов, план выполнить и заработать. Но он считал, что авторитет мастерской тоже дорого стоит. Кроме того, как он сказал, про такой ремонт можно будет после внукам рассказывать. Часам-то почти три века!

Мастера в «Точмехе» вообще засиживаются поздно. И почти все они стараются отремонтировать часы на совесть. Только у дяди Пети пока еще плохо получается. Нетерпелив слишком. Точит, точит ось и вдруг как шваркнет ее вместе со станком об пол! Концы у оси такие, что простым глазом не увидишь. Нужно с час, а то и больше доводить ось до нужного диаметра и замерять ее микрометром. Вот, кажется, уже довел ось до кондиции, чуть-чуть еще подточить осталось. Резец, сделанный из старого надфиля, по-немецки грабштихель чуть дрогнул в пальцах. И все! Отскочил конец оси! Как тут не взбелениться? Но в том-то и дело, что у мастера должно быть терпение необычайное, осторожность сверхчеловеческая чувствительность в пальцах должна быть, как у хорошего скрипача.

А когда кончится работа, в предвыходной день, мастера нередко идут в ресторан в городской сад. Там поужинают, погуляют вместе, поговорят, потом веселые домой расходятся.

Мы с матерью в такой день нередко к концу работы приходим в мастерскую, вместе с мастерами отправляемся гулять.

Вот пришли мы к семи вечера в «Точмех». Отец запирает дверь на тяжелые висячие замки. Мастера прихорашиваются. Кто запонки, кто галстук поправляет. Двинулись вперед по проспекту шумной компанией. Только мастер Штаневич сказал, что ему домой надо.

Живет он вдвоем с женой, но сад у него громадный, и огород тоже очень большой. Он свою усадьбу все время старается расширить за счет соседей. Возьмет и ночью начнет забор перестраивать, да так, чтобы хоть немного чужой земли прихватить. Если соседи возмущаются, он говорит:

— В этом месте надо линию забора выровнять, а то некрасиво...

Разводят они с женой кроликов, имеют пасеку, свиней держат. Все время в усадьбе возятся, устают. А ради чего? Все равно ведь им всего не съесть: и мед, и мясо, и овощи продают на базаре.

На центральном проспекте ветер с Томи несет запах мокрых тальников. Возле зданий часто стоят тележки мороженщиков. Прошу, чтобы купили мороженое. Старичок выдавливая порцию из жестяной вафельницы. Купили шоколадное, а есть еще яичное, сливочное, малиновое, кремное, фруктовое — у каждого свой вкус.

Впереди показались буйно зазеленевшие макушки деревьев горсада, доносятся обрывки мелодии, которую исполняет невидимый пока оркестр. Мы проходим возле бочек с пивом, стоящих прямо на тротуаре, перед бочками — длинная очередь, позвякивают бидончики, графины. — В ресторан! — командует отец.

Мы направляемся к странному зданию: его остроконечная крыша украшена шпилем и железным петушком, который поворачивается при каждом порыве ветра. Стен у здания нет, вместо них столбы, состоящие из завитушек, похожие на большие винты. Внутри этого здания прямо из пола растут пихты и березы, стволы их вверху проходят через потолок, а кроны шумят над крышей. Можно сесть за столик и опереться о ствол дерева. Интересно: сидишь в ресторане, а чувствуешь себя в лесу.

Наши сдвинули столы и рассаживаются вокруг пихты, я ствол могу рукой потрогать, он пахнет серой. Дядя Петя, многозначительно подмигнув Зубаркину, идет в противоположный угол зала, садится там за столик в одиночестве. Наши смотрят в его сторону, шепчутся.

Речь — об официантке Банковской. У нее муж строителем был, но строил все на свой лад. Поручат ему баню строить или, скажем, склад, а у него терем получается с резьбой. Закажут пивной ларек, а он выстроит избушку на курьих ножках, а продавщица ведь не баба-яга, ей в такой избушке торговать обидно.

Поручили ему строительство пионерских лагерей, дач — там его завитушки как раз к месту. Этот летний ресторан то-ясе он выстроил, потому Банковская здесь и работает. Ей, конечно, в любом ресторане рады: красивая, значит, клиентов всегда много. А она, как лето наступает, всегда в этот ресторанчик идет, потому что здесь ей муж вспоминается. Он погиб на охоте, надел меховую шапку, а кто-то подумал, что там в кустах скачет белка, выстрелил и попал Банковскому в голову.

Пять лет с той поры прошло, а Банковская ни на кого смотреть не хочет. Лицом, пышными волосами и бантиками она похожа на большую дорогую куклу. Но кукла неживая, а Банковская слишком даже живая, движется легко, как балерина.

Наши холостяки из мастерской за ней ухаживали и решили, что она неприступная, как крепость, даже разговаривать с ними не захотела. Дядя Петя, когда про это узнал, то сказал, что ему с ней подружиться — раз плюнуть. И они заключили пари. Он немым перед ней притворяется. Вот сейчас ей показывает на пальцах, мол, принесите, пожалуйста, то-то и то-то. А сам вдруг такой грустный сделался, хоть плачь и рыдай вместе с ним.

— Ну, артист, — восхищенно шепчет Зубаркин, — ему бы в цирк или на эстраду, талант!

— По-моему, мерзко это — с женщиной такие фокусы проделывать! — хмурится мать. — Вот взять да рассказать ей, какие вы свинские пари заключаете.

— И бросьте вы, Мотечка, — успокаивает ее мастер Исай Богохвалов, — и все равно у Пети ничего не получится. Банковская — это не та женщина, это — лед, северный полюс, и ей-богу же!

Мать смотрит на Банковскую пристально, как гипнотизер:

— Ничего особенного. Ноги, пожалуй, тонковаты. Конечно, кому что нравится... А ты чего воззрился! — вдруг оборачивается она к отцу. — Может, сам пойдешь, вместо Петки к ней сядешь, слепым притворишься?

— Я — ничего... просто так... все смотрят и я тоже, — смутился отец. — Чего ты придираешься?

К нам подходит другая официантка, и отец делает заказ. Мне взяли котлету и лимонад, сами вино пьют. Блики солнца, пробиваясь сквозь хвою, падают на столы, на пол, играют в стаканах с вином. А я смотрю на дядю и глазам не верю: он там, у Банковской, так же, как я, пьет лимонад. Кто бы мог подумать? Ведь он так любит вино!

Дядя Петя поел. Банковская подходит к нему, лезет за сдачей в кармашек накрахмаленного фартучка, дядя придерживает ее руку, дескать, никакой сдачи не надо, за кого вы меня принимаете? Потупив взор, вежливо раскланивается. Из белоснежной рубашки выглядывает мощная загорелая шея, лицо торжественно-печальное — вылитая икона.

Вот он проходит мимо нас, словно незнакомый, только краешком глаза косит в сторону сада. Немного посидев для приличия, наши тоже идут.

— Ну, что, — обращается к дяде Зубаркин, — пустой номер? Говорили же, она на твои старания — ноль внимания.

— Вы обещанный ящик водки покупайте про запас, — отвечает дядя Петя. — Москва не сразу строилась, но все-таки зтала больше всех городов. Вот так-то...

Мы забрели туда, где кончились аллеи и начались настоящие заросли, как в тайге. Часовщики все продолжают обсуждать дяди-Петино пари. Бынин хорохорится, что может тоже с Банковской познакомиться. Зубаркин добродушно подтрунивает над ним.

Говорят, Бынин младенцем с телеги свалился, от этого у него стали горбы расти. Зря над ним подтрунивают. Он хоть и горбатый, но нравится мне больше нашего соседа Штаневича. Только вот упрямства в Бынине излишек и выпивает

Бынин говорит Зубаркину запальчиво:

— Ты думаешь, если длинный вырос, то и мужчина? У мужчины характер должен быть мужской! Ясно?

— Характер! Вот будет драка и накладывают тебе с твоим сарактером.

— Мне? Я любовик! Ты еще пацан, любовиков не знаешь!

— Если любовик, так покажи, — просит дядя Петя. Бынин встает, оглядывается:

— Несите доску и два гвоздя.

Дядя Петя отправляется на поиски. Бынин стоит, заложив руки за спину, ждет. Глаза у него глубокие, посмотришь в них, словно в озере тонешь, не поймешь — о чем он сейчас размышляет. Наверное, все-таки о Банковской. Дядя Петя оторвал где-то от забора доску, приколачивает ее между березами. Кирпич крошится, дядя Петя ругается, но старается приколотить как, следует.

— Готово!

Бынин подходит, примеряется. Как раз на уровне его лба трибита доска. Дядя Петя знает, что делает.

— Может, не надо? — сомневается отец.

Вместо ответа Бынин разбегается, руки отведены назад, голова выставлена вперед. Ударяет лбом доску. Треск. Доска разламывается пополам.

— Молодец! — кричит мать. — Ай да Бынин! Горный козел! Архар!

— Мура! — щурится дядя Петя, — Любой сможет...

— Попробуй, — говорит Бынин.

— Покажи-ка лоб, — просит дядя Петя. Ощупав ладонью бынинский лоб, отправляется за новой доской. На этот раз мне кажется, он принес доску уже не такую толстую и, вроде, даже гниловатую. Быстро приколов ее между деревьев, дядя Петя тоже разбегается и ударяется о доску лбом. Доска остается целой, а дядя с проклятиями отскакивает от нее. На лбу у него ссадина.

Мы идем прямой дорогой, по Горшковскому переулку,, тропинкой, которая заросла высокой травой. Домики в оврагах с раскрытыми окнами, старушки на лавочках. Детвора играет в городки и в лапту.

Дома мать быстро накрывает на стол. Веселье продолжается. Люблю такие вечера, особенно, когда поют. Вот отец берет гитару и начинает наигрывать что-то одновременно грустное и веселое.

Отвори потихо-оньку калитку, —

мягко звучит его голос.

И скользни в тихий сад словно тень! —

подтягивает мать.

**Не забудь потемнее накидку,
Кружева на головку-у надень!**

Такая песня, словно я черное кружево вижу, а в черном что-то светлое сияет. Мне кажется, они про себя поют. Может, отец, когда в деревню Томышево ездил и тайком вызывал мать на улицу, тоже просил ее надеть накидку потемнее.

Впервые отец увидел мою мать из окна своей мастерской. В новогодний вечер пошла она по проспекту с подругами гулять. Такие вечера и теперь бывают, когда морозец не сильный и снег крупный, и небо, и дворы черные, а где-нибудь одно окно светится. К такому окну всегда тянет, вот и их потянуло. Интересно им: все вокруг гуляют, пожилые даже, а этот сидит пинцетом ковыряет, а сам не старей.

У отца как раз работа срочная была, - он ведь пока не сделает — не уйдет. Они снежками — бац, бац! Рассердился отец, на улицу выскочил. Вообще он застенчивый, но тут — довели.

Поймал одну и в сугроб посадил, это как раз моя будущая мать оказалась. В валенки ей снег набился, отцу пришлось ее в мастерскую вести, валенки сушить, так и познакомились.

Отец ее Иван Иванович, узнав про это знакомство, немедленно мать из города с курсов обратно забрал. Он почему-то всех городских считал жуликами. Вот тогда, тайком приезжая в Томышево, мой отец, наверно, и просил ее отворить потихоньку калитку, а потом тайно увез в Томск.

Иван Иванович запретил про беглянку упоминать. Бабушка Мария Сергеевна приедет в Томск на базар картошку продавать, зайдет к нашим, отсыплет с полведерка, больше-то нельзя — дед догадается, он за каждую картошинку отчета требовал. А потом дед погиб из-за своего казацкого характера. Поспорил на рождество с соседом, что через его избу на кошевке переедет. Избу с одной стороны снегом занесло, разогнался дед, чтобы по сугробу на крышу влететь, да ногу лошадь сломала, а сам он убилися. С тех пор дядя Петя и бабушка стали у нас жить, а тетя Шура еще раньше в Томск переехала.

Вновь вспомнил я про бабушку. Скучно что-то без нее стало, хоть она не очень-то разговорчивая, строгая. Вот так живешь рядом с человеком, иногда даже на него сердиться за что-то. А расстанешься с ним — и начинаешь понимать, что без этого человека тебе трудно, что ты его, оказывается, очень любишь. Жалко, что Софрона так далеко на работу послали. Редко будем теперь с ним, и с тетей Шурой, и с бабушкой видаться...

Отец откладывает гитару, говорит мастерам: — Ну, ладно, хлопцы, прощаться будем. Хоть завтра и выходной, думаю я над этими деревянными часами поработать. Заинтересовали они меня, любопытный механизм...

4. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОДЛЫМ!

Скоро в школу. Начну учиться, тогда отец не разрешит мне приходить в мастерскую, чтобы ничто меня от учебы не отвлекало. Ну, а пока ежедневно хожу с отцом и дядей на работу. Раньше с нами вместе ходил Штаневич, наши окна выходят в его сад. Он иногда даже в окно нам утром стучал, дескать, как вы — готовы? А теперь выжидает, когда мы уйдем, или уходит раньше нас, только бы не идти вместе.

Сегодня Штаневич не рассчитал и столкнулся с нами на улице, как говорят, носом к носу. Смутился, бормочет что-то, кашляет.

— Идемте вместе,— усмехнулся отец,— чего уж там, в мастерской-то вместе сидим.

У входа в мастерскую Штаневич замешкался, видно, неудобно ему входить вместе с нами. Мастера демонстративно отворачиваются от Андрона.

— И если я написал на вас заявление, то потому, что у меня создалось впечатление,— заглядывает в лицо отцу Штаневич.

— У меня тоже создалось впечатление,— отвечает отец,— забудем об этом!

Легко сказать — забудем! Я так не смогу забыть. Мы в тот вечер сидели дома, отец, как обычно, за своим домашним верстаком с лупой в глазу согнулся, я и мать читали, а дяди Пети дома не было, он приходит поздно ночью, а где бывает — никому не говорит. И вот внизу позвонили, я побежал узнать, кто пришел. Слышу голос Садыса:

— Открой, вам телеграмма!

Я сдуру и открыл. Смотрю — входит незнакомый дядька, а за ним два жильца из соседней усадьбы. Я и спросить не успел, чего им надо, они быстро мимо меня — и в комнату.

Незнакомый человек показал отцу удостоверение и давай все на верстаке рассматривать и в тетрадь записывать, а жильцам, пришедшим из соседней усадьбы, сказал, чтобы были свидетелями. Я удивился: разве мой отец жулик какой, что они на него протокол составляют? Вот уже полгода отец вечерами мастерит особенные ручные часы, которые будут каждую четверть часа «Марсельезу» играть, но что ж тут такого? Разве он виноват, что может даже такую штуку сделать? Отец так этому дядьке и объяснил. А тот не поверил и продолжает свое:

— Все вы так говорите! На вас поступило заявление от честного мастера-труженика Андрона Ивановича Штаневича, и я вижу, что он прав. Вы берете заказы на дом. Все механизмы я актирую и забираю, придется вам вечерний патент оплачивать...

У отца руки затряслись, а мать начала с дядькой ругаться. У меня от обиды слезы выступили. Хотелось объяснить, какой хороший человек мой отец. Но, как назло, все слова вдруг вылетели из головы, я смог сказать только:

— Вы моего папку не знаете... вот...

Я, чувствую, покраснел, вроде сам был в чем-то виноват, хотя оправдываться было не в чем. А дядька этот даже не посмотрел в мою сторону.

Через несколько дней отец ходил на какую-то комиссию, ему там дали бумагу, по которой он должен был ни за что заплатить много денег, а механизмы, из которых он мастерил свою диковину, конфисковали. Потом мать взяла у председателя артели товарища Елькина справку, а у работников часовой мастерской коллективное заявление и пошла в горсовет. Не знаю, что она говорила в горсовете, но отцу вернули все механизмы, разрешили делать часы с «Марсельезой» и денег с него не взяли.

Да и как иначе? Отец всю свою жизнь своему делу отдал. Посмотрите на него хоть утром, хоть вечером, у него всегда под правым глазом краснеет полукруглая складка. Отец говорит, что такая складка под глазом бывает только у английских лордов — от монокля, и у старых часовщиков — от лупы.

У меня пока под правым глазом складки нет, но лупу я тоже держать умею. Те, кто к ней не привык, стараются удержать ее, щурясь и напрягая мышцы, а этого делать не следует: вставляя лупу, чуть-чуть натяните кожу под глазом и бровью и сразу расслабьте, и лупа будет держаться. Отец же ее держит уже около тридцати лет.

У нас есть фотокарточка: отец в большом картузе стоит у той мастерской, где и теперь работает, только вывеска на ней другая: «Точное время г-на Бавыкина». Хозяин — рядом, одет хорошо и не злой с виду.

Родился мой отец в Саратове. Его отец участвовал в рабочем кружке, от ареста уехал с семьей в Сибирь, по дороге жена у него умерла, а сам он доехал до Томска, да тоже простудился и помер прямо на постоялом дворе. И вот моего отца, которому тогда было всего десять лет, в лютый мороз с постоялого на улицу вышибли. Куда было идти? Бродил-бродил он по незнакомому городу и на одной из улиц увидел разбитую витрину, залез внутрь — между стеклами все-таки не так дует. Утром его из витрины вытащил дядька и давай за ворот трясти:

— Ты вор? Полицию позвать?

Дядька оказался часовщиком Бавыкиным. Перед этим кто-то стекло кокнул, а нового вставить не успели. Из-за этого стекла судьба отца повернулась.

Бавыкин дал ему подписать контракт: десять лет мальчик должен работать бесплатно, а когда ему двадцать исполнится и придет время жениться, он будет обучен часовому мастерству и полностью обеспечен инструментом.

У моего отца сейчас все нижние зубы золотые. Недавно вставил, а то все без зубов ходил. Хозяин обучал по-особому. Часы любят чистоту. Чтоб к ней привыкнуть, ученик мыл полы в мастерской и хозяйских комнатах. Чтоб привыкнуть к точности и осторожности, ученик нянчил хозяйского младенца, тоже — хрупкий механизм.

Раз Бавыкин с женой в театр ушел, ученик качал младенца и заснул на полу. Снился ему оркестр, барабанщики и певица, которая тонким голосом пела. А это Бавыкин из театра вернулся, в дверь стучал, а младенец криком заходился. Хозяин дверь высадил и ученику сапогом — в зубы! После шутил: мяса меньше есть будешь, дешевле прожить.

Не учили отца, сам до всего дошел. Однажды Бавыкин утерял вилочку от швейцарских часов. Это бывает, хотя у каждого верстака бортик сделан, и с него на колени мастеру белая тряпица свисает, чтобы деталь, выскочившая из пинцета, зацепиться могла. Если все же деталь на пол скатилась, мастер должен уметь ее найти. Магнитом пользоваться нельзя — часы

намагнитятся, к тому же, магнит только сталь берет, а если деталь латунная? Ищут так: специальной щеточкой обметают одежду, стул, затем сметают пыль со всего пола в белую бумажку. Пол фанерой застелен, швы мастикой промазаны, но найти деталь, которая в десять раз меньше игольного ушка, не просто.

Бавыкин искал вилочку три дня, никому в мастерскую заходить не разрешал, работа остановилась. Хозяйка часов была женой важного чиновника. Тогда отец и вызвался выточить новую вилочку. Его подняли на смех, а он три дня работал и сделал. Заказчице выдали часы «в хорошем ходу», ей и не снилось, сколько с ее часами возни было. А утерянную вилочку Бавыкин через неделю нашел возле гардероба у себя дома, сверкнула вдруг в луче солнца. Понятно, что он ее туда на одежде занес.

С тех пор отцу поручали самые сложные работы. Так и шло. А в гражданскую войну Бавыкин с колчаковцами смылся и весь инструмент увез. Мастера разбрелись кто куда, а отец все в той мастерской сидел, сделал вручную корнцанги, отвертки, помаленьку заказы брать стал. Пришел финагент:

— Кто такой? На каком основании?!

Отец сказал: мол, на основании того, что кушать хочется, а хозяин смылся. Финагент говорит:

— Раз такое дело, организуем народную артель, набирайте мастеров. —

Тогда и повесили новую вывеску, которая теперь висит.

Мастера все эту историю знают, потому особенно злы на Штаневича. Богохвалов говорит:

— И чего ты, Андреи, человеку душу мотаешь? Николай Николаевич у нас партийный и вообще...

— Проверять всех надо, понял-нет? — оправдывается Штаневич. — А в партию я бы тоже вступил, если захотел бы. Исай смотрит на него пристально:

— А кто бы тебя принял, эсера бывшего? Думаешь, не слыхали?

— То были заблуждения молодости, понял-нет?

— А у Колчака служил — тоже заблудился? Николай Николаевич был красноармейцем.

— Он в гражданскую молодой был, а то бы и его мобилизовали. А от Колчака я потом сбежал, документы есть, понял?

— А почему же в Красную Армию потом не пошел? Штаневич ерзает на стуле:

— По здоровью... сердце у меня, понял? Гипертония...

— Странное у тебя сердце! — качает головой Исай, — белым служить не болело, а Советской власти — сразу больным сделалось.

Штаневич разбирает часы и ворчит себе под нос:

— Все хороши! Если он такой принципиальный, понял, зачем семейственность разводит, родственников на теплые места устраивает?

Тонкие шнурочки дяди-Петиных бровей сходятся у переносицы:

— Ты на кого намекаешь, сосиска, сукном обтянутая? Да я из твоей головы глобус сделаю!

Штаневич теряется под взглядом пронзительных дядиных глаз:

— Не понял, понял, — в каком это смысле глобус?

— А в таком! Вертеться вокруг оси будет, как глобус! Теперь понял?

— Брось, Петро, лучше делом займись, — примирительно говорит отец.

Откуда такие люди, как Штаневич, берутся?

Я много слышал от мастеров про этого человека. Он вообще-то к часовому делу неспособный. Сначала работал в скупочном магазине приемщиком, приходилось и часы принимать, там он с ними немного познакомился. Но в основном он в скупке интересовался золотом. Какую бы золотую вещь ни приносили, он обязательно тер ее об суконку, как будто для того, чтобы узнать, золото это или нет. На суконке оставался чуть заметный золотой след. Суконки

Штаневич складывал в ящик, а в конце недели сжигал в тигле, и на дне его оставалась маленькая золотая крупинка. Сколько таких крупинок накопил Андрон в скупочном магазине — трудно сказать, но с должности приемщика его турнули.

Во время нэпа Андрон открыл собственную мастерскую, на вывеске была его фамилия. Наберет Штаневич заказов и несет молодым мастерам, которые заработать хотят, сам с клиента возьмет десятку, а мастеру заплатит пятерку. А клиентам откуда знать, что Андрон и не мастер совсем? Они ему заказ сдали, у него же получили. Часы идут хорошо, значит и Андрон мастер хороший. Так он и жил. Потом разоблачили все же и мастерскую закрыли. Долго он без работы мыкался, даже, говорят, нанимался белить. И вот упросил однажды отца принять его, подучить немного, мол, кое-что уже в часах понимает.

...У приемного окошечка столпились заказчики. Отец углубился в работу. Я подхожу к дяде Пете, который пытается собрать вычищенные им часы, и шепотом даю советы.

Мастера все шутники. Кто-нибудь спросит:

— Где мой лобзик?

С другого конца мастерской откликаются:

— У меня! — А когда хозяин лобзика подойдет, добавляют :

— Нету!

Ругаться бесполезно: человек правильно сказал: «У меня нету», только не сразу, а с остановкой.

Сейчас Бынин подмигивает дяде Пете и сует ему в руку баланс от будильника — колесико, надетое на ось, концы которой острые, как иголки. Штаневич как раз привстает, чтобы повесить хронометр на проверочную доску, дядя ловко втыкает баланс в подушечку. Штаневич садится и тут же с визгом вскакивает, как ужаленный. Поднимается такой смех, что даже заказчики за перегородкой, которые ничего не видели и не знают, в чем дело, тоже начинают смеяться. Исая Богохвалов схватился за толстый свой живот, трясется весь и вскрикивает:

— И что это делается! И не могу, ей-богу! У Бынина от смеха слезы выступили. Отец старается быть, серьезным, но губы сами расплзаются в улыбку.

— Хулиганы! — кричит Штаневич, потирая уколотое место. — Я, понял, к председателю артели товарищу Елькину пойду! Попомните!

Он выскакивает из мастерской, сильно хлопнув дверью.

Дядя Петя неосторожно прижал плату и сломал ось секундного колеса, я был уверен, что этим кончится. У дяди Пе» ти даже пот на лбу выступил.

Леня Зубаркин работает февкой, это — трубочка, толстый конец которой берут в губы и дуют изо всех сил: из тонкого конца вырывается струйка воздуха, она разогревает добела уголек, на котором лежит серебряная пластинка. Дуть нужно непрерывно, иначе серебро не расплавится и пайка не получится. Тут нужно так наловчиться, чтобы одновременно носом набирать воздух и выдувать его изо рта. Не каждый мастер это умеет, у моего отца это получается здорово. Леня Зубаркин многое у него перенял, а вот февкой по-настоящему овладеть никак не может. У меня, сколько ни пробовал, вообще ничего не получается: пока воздух носом набираю, уголек остывает.

У окошек мастерской торчат зеваки. А чего смотреть? Все равно ничего не понимают. Мне вот понятно, что мастера делают, оттого и любопытно.

На проверочной доске часов становится все больше. Ручные и карманные висят отдельно, на них, как на будильниках и настенных часах, время разное: одни убегают, другие отстают, их еще регулировать будут, вот только выяснят, какую разницу они дают за сутки.

Клиенты, которые заглядывают в окошечко, никак не могут понять: сколько же сейчас в самом деле времени? Так и надо! Не заглядывайте, куда вас не просят!

5. ДЮМА-ОТЕЦ, САДЫС И ДРУГИЕ

Когда первого сентября я собирался в школу, мать велела мне надеть матроску, которую купила на толкучке. Ей кажется, что эта матроска мне очень идет. Вот так зимой она унты носить заставляла, меня из-за них стали Папаниным звать, а из-за матроски, может, моряком с разбитого корыта назовут или еще похуже. Скажем, почему Юрку все Садысом зовут? Потому что он в детстве чересчур вежливым был: кто бы ни пришел — всех приглашал садиться, но получалось у него не «садись», а «садыс».

Но чем больше подрастал Садыс, тем больше становился невежливым. А потом еще хитрым и вредным стал. Когда нам лет по пять было, он меня очень обидел. У нас в сенях большой металлический крюк, которым двери запираются.

Когда сени отперты, крюк этот чуть не до земли свисает. В сильные морозы он покрывается инеем. Вот Садыс и говорит мне:

— А ты никогда не пробовал крюк лизать? Он ведь сладкий!

Я почувствовал подвох и говорю:

— Может, и сладкий, так ведь холодный?

А Юрка вместо ответа взял и лизнул крюк и всем своим видом показал, что ему очень приятно. Не знаю, что со мной произошло, но только я вдруг Юрке поверил, взял и тоже крюк лизнул. Язык и прилип к холодному железу. Я рванулся, на крюке кусочек кожи остался, а из языка кровь пошла. Потом-то я узнал, что Юрка, прежде чем крюк лизнуть, положил на язык кусок промокашки. Я решил ему больше ни в чем не доверять.

Начались занятия в школе. Садыс, как всегда, на задней парте пристроился. Там ему удобнее диктант или задачу списать. Вызовут к доске, он начинает переминаться с ноги на ногу, смотрит на учителя жалобно, рассказывает, что отца у него нет, живет он только с матерью, поэтому жизнь у них трудная. Учитель и поставит ему «посредственно», хотя надо бы поставить «плохо» или «очень плохо». Но Садыс так ласково в глаза учителю глядит, так искренне клянется, что к следующему уроку обязательно все выучит, что некоторые учителя смягчаются.

Садыс любит дежурить по классу, наверное, потому, что тогда ему удастся немного покомандовать. В день дежурства он приходит в класс пораньше и тщательно протирает стол учителя, заправляет ему чернилку-непроливашку чернилами, протирает доску. Никого до звонка в класс не пустит.

Я раз пораньше пришел. Он меня пустил — все-таки в одной ограде живем. Смотрел-смотрел на мои ботинки и говорит:

— Спорим, что в моих ботинках не сможешь по всему школьному коридору и обратно прогуляться?

Я посмотрел на его ботинки. Обыкновенные. И размер такой же, наверное, как у меня. Ну, думаю, сейчас мы переобуваться станем, а он возьмет, да в свой ботинок иголку или булавку воткнет. Но я-то не лыком шитый! Прежде чем его ботинки обувать, сначала все внутри прощупаю. Что ж, говорю, спорим. А на что? Он сказал, что на два перышка с шишечками. И показал мне эти перышки. А это большая редкость, в магазине их почти не бывает. Я быстренько разулся, свои ботинки Садысу отдал, взял его обувки, быстро внутри пальцами обшарил — нет ничего. Обул — хорошо! Вышел в коридор. Да я не то что раз, хоть десять раз пройду! И давай топать по коридору.

Вернулся. Хотел в класс зайти. А Садыс говорит:

— Теперь уже нельзя заходить. Скоро урок. Вот тебе твои ботинки.

Я переобулся, отдал ему его обувь, а тут вскоре звонок зазвенел. Ребята в класс побежали. И классный руководитель Петр Сергеевич зашел. Мы все встали. Он развернул классный журнал, смотрел-смотрел в него, а потом вдруг на потолок глянул:

— Эт-то что такое?!

Мы тоже на потолок посмотрели, а по всему потолку идут следы.

Садыс говорит:

— Я, Петр Сергеевич, не знаю, кто это сделал. Я как раз выходил тряпку намочить. Вот в это время кто-то и напакостил.

Петр Сергеевич поправил очки:

— Кто это сделал, вероятно, подумал, что его трудно найти. А это очень просто. Я попрошу всех встать и показать мне свои ноги.

Мы выстроились возле стены. Петр Сергеевич троим велел снять ботинки, а остальным разрешил сесть, потому что и так было видно, что не они наследили. И вот мы трое сняли ботинки, Петр Сергеевич встал на стол и рядом со следами на потолке отпечатал след сначала одного ботинка, затем другого, третьего. На Ямской возле школы грязь была непролазная, ботинки наши сырые, и следы отпечатались хорошо.

— Ну вот,— сказал учитель,— это Коли Николаева работа. Видите, на левом ботинке подошва с трещинкой у носка? Такой след Колины ботинки оставляют. Кто бы мог подумать? Способный мальчик. Правда, ленивый. А он, оказывается, еще и хулиган!

И пошел рассказывать, сколько трудов стоило побелить потолки, и какое это варварство — так поступать. И намекнул, что я живу в зажиточной семье и, видно, плохо знаю, что такое труд. И велел мне идти за матерью. А Садыс потихоньку, но так, чтоб учитель слышал, сказал:

— Где ж ему труд знать! Ест, что хочет, спит, на чем хочет, как сыр в масле катается!

Такая обида меня взяла! Провел меня этот Юрка! Опять провел, и никому ничего доказать нельзя. Я не пошел домой, мать вызывать не стал, прошатался по улицам до того времени, когда занятия должны были кончиться, а потом явился домой, как ни в чем не бывало.

Но вышло еще хуже, потому что Петр Сергеевич сам к нам пришел. И рассказал, что я порой на уроках плохо себя веду, что с соседом по парте Витькой Кротенко во время уроков разговариваю.

Ушел он. Мать ругалась. Стали с отцом советоваться, как со мной быть, что делать. Я рассказал им все про Садыса, как он меня обманул. Но они не поверили.

— Молчи уж! — сказала мать.— Имей хоть мужество в своем разгильдяйстве признаться. Ох, и в кого же ты такой уродился?

Я хотел сказать, что, дескать, в нее, но промолчал. Мне и так могло крепко попасть. А она все продолжала ругаться:

— Ох, неужели же он вырастет таким, как Петька?!

А я подумал, что хорошо бы мне быть таким, как дядя, да где уж! Таланта нет. Его-то никто так не проведет и не обидит. Он со всеми находит быстро общий язык.

Вот и с официанткой Банковской он все-таки познакомился. Все ходил в тот летний ресторан до самого закрытия. Придет, сядет за столик, грустный делается и на салфетке заказ напишет. Лимонад ему требуется, какао там, яичница. Сам почти не ест, а все на Банковскую смотрит. Посидит-посидит, расплатится и уйдет. Так он почти три месяца ходил, а однажды взял да и написал на салфетке, что он несчастный, одинокий, дескать, проводил бы ее, да опасается, что ей с калекой идти неприятно будет. Банковской его стало жалко: молодой, красивый и — немой. Она не смогла отказать. С тех пор они вечерами стали прогуливаться вместе. Дядя Петя, что надо, на пальцах ей показывает, а если непонятно, так у него записная книжка в кармане — напишет на листке, вырвет его и ей подаст. Так, мол, и так: погода хорошая, я очень счастлив. А когда в записной книжке ни одного листка не осталось, вдруг он заговорил. Рассказал ей, что не видел иного способа познакомиться. Она его пригласила в гости. Он часто к ней стал ходить, а потом и нас пригласил туда.

Дом у Банковской особенный: с мезонином и выстроен в виде терема. В мезонине к потолку ведет винтовая железная лестница, взбираешься по ней и крутишься, как волчок, а в потолке вместо двери дыра с крышкой, как у подполья, люком называется.

У Банковской вообще много необыкновенного. Я, когда к ней впервые попал, чуть не растерялся. В прихожей вместо вешалки — оленьи рога. Банковская сказала:

— Мой муж был охотником, пойдем, я покажу тебе чучела.

Пошли мы по комнатам, а там чего только нет! Вцепившись когтями в толстые кедровые ветки, сидели коршуны, совы, все — как живые. Были там чучела глухарей, тетеревов, рябчиков, зайцев, лисиц. На стенах развешены разные ружья, манки, рожки и много всяких штучек, каких я раньше никогда не видел. Банковская объяснила, для чего они, да разве сразу запомнишь! На полу были расстелены медвежьи шкуры, а в спальне медведь стоял, протянув вперед лапы, словно хотел обнять кого-то. Все мы хвалили чучела, а дядя дернул медведя за хвост:

— Возможно, что ее охотник это все на толкучке покупал, а ей только рассказывал про свои подвиги.

Банковская почему-то не возражала, только поглядывала на дядю грустно. А позже я узнал, что она сдала всех зверей в комиссионку, а медведя — в центральный ресторан. Медведь там и сейчас стоит, в лапы ему поднос дали, а на подносе — графин и рюмки. Банковской только ружья на память о муже остались.

Мать надеялась, что дядя женится на Банковской и остепенится. Но дядя все почему-то не женился. Осенью ему на лотерейный билет пятьсот рублей выпало. Мать обрадовалась, сказала, что теперь он приоденется, не будет по выходным отцовские костюмы трепать, да и туфли тоже. Туфель не жалко, но в центре всюду гравий насыпан — подошвы, как на огне, горят. Мать рассчитывала, что дядя теперь будет давать деньги на еду.

Прошло две недели, а дядя костюмов не покупает, на продукты ни рубля не дает и вообще про деньги молчит. Мать спрашивает:

— Ты деньги выигранные получил?

— Нет, — отвечает он равнодушно, — в сберкассе инвентаризация.

В выходной дядя стал отцов пиджак надевать, желтые штилеты из шкафа достал. Мать в них вцепилась:

— Куда?

— Тебе-то что? Ты кто мне, нянька?

Заметив, что мать сильно рассержена, поняв, что в этот раз она может туфли не дать, дядя назвал ее заграничным именем Мэри и попросил:

— Последний раз, сестренка, очень нужно. Она сделала вид, что ей все равно, но едва он вышел, двинулась следом. Я из калитки смотрел, как она его выслеживала. Несколько шагов сделает, к стенке прижмется, за столбом постоит и — дальше. Настоящий шпион!

Мать думала, что дядя Петя отправился в ресторан выигрыш пропивать, и ошиблась. Он пошел в «Испр», в такой дом, где сироты, бывшие беспризорники и правонарушители живут. Оказывается, он там несколько раз выступал с фокусами и познакомился не только со всеми воспитанниками, но и с директором этого дома.

Вошел он в ворота, мать — за дерево и наблюдает.

У главного входа стояло что-то, накрытое белым покрывалом, а вокруг собрались воспитатели, ребяташки.

Дядя Петя на верхнюю ступеньку крыльца взошел вместе с директором «Испра» и художником Пинегиным, тем самым, который когда-то мои рисовальные способности проверял. Он давно дружит с нашей семьей и, конечно, понимает дядино увлечение литературой. Директор вышел чуть вперед и сказал, что, дескать, в «Испре» большой культурный праздник, что ихнему коллективу Петр Иванович Коруна дарит бюст знаменитого писателя Дюма, а изготовил этот бюст по заказу товарища Коруны знаменитый художник Пинегин и что от этого исправцам будет огромная польза.

Затем дядя Петя откашлялся и сказал, что это бюст не просто писателя Дюма, а Дюма-отца.

В тот момент, когда сняли покрывало и все кричали «ура», дядя спросил художника:

— А ты не перепутал? Это точно отец? Без дураков? А то ведь знаешь, мне сына даром не надо, я отца заказывал.

Матери это дядино увлечение искусством почему-то не понравилось. А дядя, как только начался цирковой сезон, в цирк зачастил. Он там со всеми борцами познакомился. Дома он вырезал из картона фигурки борцов, очень похожие, и каждому на спине писал фамилию. Две таких фигурки соединяют нитяным колечком, ставят на газету и тихонько трясут, фигурки падают, которая оказывается сверху, тот борец и победил. Этой игрой даже мой отец увлекался, про меня и говорить нечего. Конечно, мы играем, когда мать не видит. А я так места себе не нахожу, когда над куполом зажигается электрический гимнаст на трапеции и надпись: «Цирк». По этой надписи я читать учился.

Задолго до открытия сезона в людных местах на заборах появляется загадочная надпись: «Анонс!» Я как ее увижу, представляю, как гроыхают по рельсам вагоны, в которых — покачивают хоботами слоны, грустят львы. Пока еще спрятаны за стенами вагонов бисерные костюмы, трапеции, канаты, тумбы. Поезд еще далеко, может, возле Щучьего, но по заборам кто-то невидимый каждое утро распластывает все новые плакаты: «Скоро! Скоро! При участии мастеров!» Нарастает ожидание. Пока в афишах ничего определенного, только на одной: «К вам едет Лазаренко!»

А в один из первых морозных дней дядя Петя возвратился домой в сильном возбуждении:

— Тринадцать Альби приехали! Контрамарку за миллион не купишь! Трудно будет вас провести, но я сделаю...

Чтобы скоротать путь к цирку, пробирались задворками, скользили по льду Ушайки, утопали в сугробах.

И вот запах сырых опилок, полумрак, зал приглушенно гудит. Над главным входом невидимые фагот и скрипка издают несколько беспорядочных звуков и умолкают, словно испугавшись чего-то. И вдруг — марш, вспыхивают опоясывающие арену прожектора. Униформисты стоят, словно каменные, а инспектор манежа объявляет первый номер.

А Лазаренко? Как мы ждали его выхода! Подошло долгожданное третье отделение. Инспектор манежа прокашлялся:

— Уважаемая публика! Виталий Лазаренко устал с дороги и выступать не может... Вместо него...

Инспектору не дали договорить. Одни свистели, другие топали. Какой-то чудаков в рабочем костюме спускался с галерки, выкрикивая: «Я пришел только ради Лазаренко! Отдайте мои деньги обратно!» Инспектор испуганно замахал руками, а чудаков бежал по проходу, только ноги мелькали, и когда до арены осталось три ряда, он как прыгнул, крутя сальто, перелетел через публику и встал на манеж. Тут все поняли, что это и есть Лазаренко. А в антракте мы шли в конюшни, где стояли знаменитые ученые лошади Александрова-Сержа, и каждый мог купить на пятак морковки и угостить этих замечательных лошадей.

Дома и на работе дядя Петя изо всех сил старается вести себя хорошо, чтобы никаких огорчений у матери не было. Но это не всегда у него получается.

Разве дядя виноват, что Андрон пишет в контору жалобы. Длина верстака должна позволять каждому мастеру свободно положить локти на верстак, но с тех пор, как дядю поместили рядом с Андроном, одному его локтю не хватает полсантиметра пространства. Штаневич требует, чтобы его пересадили на другое место. Ясно, что ему хочется сидеть у окна, выходящего на северную сторону, в него падает мягкий свет, не дающий теней. Но там сидят лучшие мастера, Андрона туда, все равно не посадят.

В одном из своих заявлений Штаневич указал, что дядя мой плохо еще знает часовое дело, что он к тому же — совместитель. Тут-то и выяснилось, что дядя по вечерам работает в цирке униформистом. Дядя пояснил дома, что подсмострит там приемы и со временем станет жонглером или канатоходцем. Мать сказала:

— Всю жизнь болтался, как шевяк в проруби, не надоело?

Мать очень недовольна дядиными увлечениями. Она опасается, чтобы я не вырос похожим на дядю. А я думаю, что это было бы для меня великое счастье.

6. В МАСТЕРСКОЙ ЗВУЧИТ «МАРСЕЛЬЕЗА»

Бывают зимы, когда наваливает столько снега, что он лежит до конца апреля. Так было и теперь. Приближались первомайские праздники, а во дворах, на берегу Ушайки еще лежал снег. Он, правда, осел, стал рыхлым и ноздреватым, но его еще было много. И тогда в наш двор высыпали стар и млад, чтобы к первомайскому празднику очистить все вокруг. Снег мы собирали в стоявшей на санях здоровенный короб, затем вывозили к Ушайке и там на берегу сваливали.

Я тоже орудовал лопатой и думал о том, что своими руками укорачиваю зиму. Мне было немножко жаль, что она кончалась. Есть в ней немало прекрасного — катание, например.

Еще в прошлую зиму я катал Верку Прасковьеву на санях и представлял ее Гердой из сказки. А в эту зиму она уже выросла такая, что в санки не поместится. Какая уж теперь из нее Герда!

Всю зиму я катался и на санях и на коньках один и представлял, что цепляюсь к саням Снежной королевы. Летит мимо кошева, прицепишься к ней длинным проволочным крючком, мчишься в темноте, так, словно это не ты движешься, а мимо пролетают желтые пятна далеких и близких окон. Кошевка в несколько минут унесет тебя на другой конец города. Куда она поедет, куда свернет — неизвестно, в этом-то вся и прелесть.

Подвода — хуже, но тоже ничего. Бывает мороз такой, что туман кругом, но издали слышишь: полозья скрипят, лошади всхрапывают. Выныривают из тумана закуржавевшие лошадки. На первых санях сидит возница и из глубины громадного тулупа покрикивает лениво и важно: «Н-но!». Вторая лошадь за узду привязана к первым саням, следом третья лошадь и так далее. Иногда подвода бывает в пять-шесть саней, цепляйся смело, если хозяин и заметит, то всегда успеешь убежать. Только подводы движутся медленно, а мы любим скорость, хочется куда-то лететь, мчаться, чем быстрее, тем лучше.

Надышишься морозным воздухом так, что кажется — сам весь из воздуха состоишь, идешь домой с одним желанием: упасть в постель, а на снегу возле дома словно кто желток разлил, это — фонарь, освещающий табличку с номером дома. В мороз лампочки лопаются, как мыльные пузыри, меняют их часто.

Но теперь мы увозили со двора остатки зимы. Дядя Петя так работал ломом, что ему стало жарко, он скинул полушубок, остался в одной майке, тело в прошлогоднем загаре, как шоколад. Верка Прасковьева смотрела так, словно ей хотелось откусить кусочек. Моя мать с крыльца крикнула:

— Петька! Сдурел! Оденься сейчас же!

А дядя никакой простуды не боится. Да и тепло было. Хоть и снега еще много, но солнышко пригревало, с сосулек капало, позванивало: тень, тень, тень! И мне вспомнилось, что все последние вечера у нас дома почти такой же звук был слышен. Это отец доделывал свои музыкальные часы. Иногда он засиживался до поздней ночи, и, уже засыпая, я слышал, как у него на верстаке что-то позванивало: тень, тень!

Дядя Петя разогнал короб со снегом, сам стал на запятки и мчался с санями под уклон. На берегу короб перевернулся, шоколадное тело скрылось в снегу. Затем дядя выскочил из снежной каши и вприпрыжку повез пустой короб обратно. Схватил с воткнутой в снег лопаты свитер, стал растираться, полушубок зажал между колен. Верка подошла и сказала:

— Дайте, Петя, поддержку...

Следующий короб доверили везти мальчишкам. Мы с Садысом стали на запятки, оттолкнулись ногами. Сани ехали все быстрее. Приближался откос, по которому мы могли съехать на лед.

— Ванте, тормози в лапте! — вдруг завопил Садыс и спрыгнул с саней. Я мчался дальше, мог бы на лед скатиться, но стоявший на берегу, парнишка из соседней усадьбы, Витька Кротенко, крикнул мне:

— Заушаечники!

Так у нас называют тех, кто за Ушайкой живет. Зимой у нас вражда: если мы к ихнему берегу подойдем, они нас ловят, они к нашему берегу подойдут — мы их ловим. Могут по шее дать или веревочку, которой коньки подвязаны, перерезать, ковыляй домой и коньки в руке неси. Иногда мы собираемся в отряды и обстреливаем друг друга снежками.

Заушаечники возле самого нашего берега около парнушки сутились. Парнушку эту, как только станет лед, строят на реке Дюба с отцом, а весной раскатывают по бревнышку и увозят к себе во двор. Зимой в ней печка-буржуйка топится, во льду две продолговатые проруби, по краям положены доски. Женщины встают на них коленками и полощут белье. Вода в проруби ледяная, но от белья валит пар, и кажется, что — кипятик. Я раз руку туда сунул, мать заругалась: утонешь! А в прорубь свалиться и вправду просто. Однажды мать Юрки Садыса тетя Агаша поскользнулась и — в прорубь. Думали — конец ей, но у Дюбы предусмотрено: он за парнушкой полынью продолбил, чтобы упущенное белье ловить, в нее тетя Агаша и выскочила.

Проруби зимними ночами сильно обмерзают, их каждое утро заново кайлить надо. Зато и драл Дюба за вход в парнушку с каждой хозяйки по рублю. Зайди кто бесплатно, так он, пожалуй, и утопит. Теперь он должен был парнушку разобрать, ведь скоро лед тронется, да, видимо, не успел.

Заушаечники сдирали с парнушки доски, кричали:

— Соломы тащи! Поджигай гадскую парнушку!

Понятно, что они хотели Дюбе насолить. Он как в мальчишечью игру вмешивается? Поймает заушаечного пацана, ага, мол, вражеский лазутчик! Снимет с него шапку и коньки, потом на толкучке загонит.

Садыс спрыгнул с саней, меня не предупредил и исчез куда-то. Пока я оглядывался, он появился вместе с Дюбой. Дюба опух с похмелья, волосы из-под шапки в разные стороны торчат, а в руке — ружье.

Дюба поднял ружье и стал на заушаечников наводить. «Что ж это такое?! — подумал я. — Это ж не снежки, не игра! Как же можно в людей стрелять?» Смотрю, Садыс улыбнулся:

— Пимы сними!

— Зачем это? — спросил я.

— Сердце искать, оно теперь у тебя в пятке!

Хотел я ему тоже что-нибудь такое ответить, но тут прибежали к берегу отец и дядя. Дюба увидел их, ружьем замахал:

— Не подходи на два с половиной шага! Дядя подвигался бочком:

— Чего ты? Я ведь только посмотреть — какого оно калибра! — Вдруг, обернувшись, дядя воскликнул: — А с парнушкой твоей что стало!

Дюба посмотрел в сторону парнушки, в этот момент дядя выбил у него ружье, сделал подножку, сел на Дюбу, отделил ствол от приклада и начал этим стволом Дюбу лупцевать:

— Не пу-гай де-тей! Зря форс не гни!

Потом дядя размахнулся и отправил ствол в прорубь, туда же бросил и приклад. Дюба искал в снегу шапку, всхлипывая, говорил дяде:

— Попомнишь... Такое же купишь, не то, не я буду... Дядя посмотрел Дюбе прямо в глаза:

— Я тебе корову куплю без рогов и хвоста. Понял? Потихушник! Сундук деревенский!

Мать тоже прибежала на берег, потянула отца и дядю за рукава. Я пошел за ними. Мать говорила:

— Надо было милицию вызвать, а самим не ввязываться. Он потом знаете что может устроить?! Это ж баклан, бандит настоящий!

Дядя Петя ее успокаивал:

— Я таких губошлепов видал и через забор кидал! Мать рассердилась:

— Тебе лишь бы кулаки почесать! Всегда во все такие дела надо ввязаться!

Дядя вздохнул и скромно сказал:

— Что же поделаешь, если я, может, единственный тут мужчина, на всей этой Ямской улице. Мать прищурилась и ответила:

— А мне кажется, что ты на этой улице единственный трепач.

Но вот наступил праздник Первомая, и мать сама смогла убедиться, что зря так про дядю говорила, что второго такого мужчину не только на нашей улице, но и во всей артели «Вперед», а, может, и во всем городе не найти.

Каждый коллектив на демонстрацию собирался возле своего учреждения. Возле конторы артели «Вперед» собрались фотографы, портные, парикмахеры и часовщики. Мастера из «Точмеха» держались вместе, кучкой. Бынин завернул рукав пиджака и стал проверять время. А на руке у него — штук десять часов, одни над другими. Не для хвастовства. Этого дело требует. Бывает, что часы висят на гвоздике или лежат на верстаке и ходят отлично, а выдадут их клиенту — они или спешить или отставать начинают, а то и совсем станут. Вот и считается лучшим способом проверять часы на руке.

Отец оправлял красный бантик на лацкане пиджака, дядя шутил, отбивал на тротуаре чечетку черными ботинками, которые были так начищены, что в них можно было смотреться, как в зеркало.

Когда все работники артели собрались, председатель товарищ Елькин и технорук стали думать, кому дать знамя нести. Технорук сказал, что передовику, но товарищ Елькин не вполне с ним согласился. Передовики-то бывают разные. Скажем, Бынин — передовик, но если дать ему знамя нести, никакого эффекта не будет. Надо, чтобы труженики видели, что это, действительно, идет артель с гордым названием «Вперед». Знаменосец должен обладать хорошей внешностью. Пусть даже это будет не совсем передовик. Тут выяснилось, что стройнее и мужественнее дяди Пети во всей артели мужчины не найти.

— Только тебе переодеться нужно в спортивный костюм,— сказал товарищ Елькин.

Тут же кладовщик принес брюки, а курток не было. Дядя сказал, что может идти в майке. Когда он снял рубаху и все увидели его бицепсы, то поняли, что лучшего знаменосца быть не может. Правда, крокодил, кусающий себя за хвост, из-под майки был виден, но самую малость, только хвост и зубы, так что, кто эту татуировку раньше не видел, тому ни за что не догадаться, что там дальше — под майкой.

Началась демонстрация, и дядя шел впереди колонны, высоко держа знамя артели «Вперед», и на него глядели толпы людей. Мы с матерью тоже смотрели. Отца мы так и не увидели, он на людях стесняется, поэтому в центре колонны спрятался. Бынин же, наоборот, вылез в первый ряд, хотя его никто об этом не просил, шел вслед за дядей Петей и смотрел в небо, изо всех сил размахивая руками.

Потом прошли колонны других рабочих, и я гордился своим городом: сколько здесь разных предприятий! Работники спичфабрики пронесли огромную, сделанную из бревна спичку, картонный язык пламени поджигал картонную бочку с порохом, на которой сидел капиталист в дергуновском цилиндре. Перед колонной завода «Металлист» везли знамя на настоящем мотоцикле, рабочие, видно, его сами собрали, потому что одно колесо у него блестело никелем, а другое было черное, мотоцикл стрелял, как пулемет, и обдавал улицу сизым дымом. Прошли колонны фабрики карандашной дощечки, лесозавода, канатной мастерской и дрожжевого завода. Мне показалось, что запахло дрожжами, вспомнилось крас-

ное кирпичное здание на окраине города: там ничего не стучит, как на других фабриках, тишина. И приторным запахом дрожжей пахнет округа. Старухи говрят: запах этот бодрость придает...

Сейчас отцова очередь. Мы входим в мастерскую, а там — все точмеховцы. Мастера сегодня такие нарядные: у каждого на пиджаке алый бантик, все аккуратно причесаны, кроме, разумеется, Андрона, ведь лысину не причешешь.

— Что ж вы здесь? — осведомляется отец. — Вам дежурить еще рано. Неужели не надоело в мастерской?

— Да, так вот, как-то... — отвечает за всех Бынин, — когда сидишь, работаешь, конечно, конца смены ждешь... А теперь праздники, вроде куда угодно идти можно, а ноги сами привели в мастерскую.

— Не в мастерской дело, — раздумчиво говорит Богохвалов, — мы, как старые супруги, ругаемся, ссоримся, того нам не хватает, этого, а разлучи нас на неделю — с тоски помер.

— Одним словом — рабочий класс! — подводит итог Бынин.

— Какие мы рабочие! Мы же, понял, ничего не производим. Ремесленники мы, понял, вот кто! — оттопыривает нижнюю губу Штаневич.

— Как это не производим?! — обижается отец. — Ты зря не говори. Часов пока выпускают у нас мало, не каждый труженик может новые купить. Мы ему из старья сделаем — значит, хорошее настроение произведем, он вовремя придет и на работу, и на свидание. Только делать нужно так, чтобы часы точно шли, не отставали на пятьдесят лет. Ясно?

— Вы, понял, всегда на Штаневича, он у вас всегда виноват, — обижается Андрон.

— Это так, к слову, — начинает крутить ручку отец. — Знаете, братцы, может, наша мастерская через десять лет в небольшой заводик превратится. Завод хорошего настроения. А? Звучит?

— Верится с трудом, — качает головой Богохвалов, — до завода нам еще как до небес.

— Ну, выпуск часов, конечно, не осилим, а ты представь завод по ремонту бытовой техники. Белое здание, два десятка мастеров, станки. Что мы сейчас можем? Часы, гравировку, ну, камешек в колечко вставить. А пишущие, швейные машины кто у нас чинит? Старушка очки разобьет — куда обратиться? Зубаркин будет по совместительству киноаппараты налаживать, кино каждый день смотреть будем, — мечтает отец.

Да, отец не зря у начальства новые станки и приспособления выбивает. Недавно сам граверное дело изучил и Зубаркина натаскивал. Надо вам надпись на часах — приходите в «Точмех». Сначала металл покроют воском и пишут иглой, потом в царапины кислоту пускают, а когда она металл выест, подправляют буквы резцом-грабштихелем. Над такой надписью полдня просидишь, зато она на всю жизнь, не то, что какие-нибудь каракули в тетрадке.

Бынин извлекает из-под верстка бутылку шампанского. Хлопнула пробка. Зазвенели колпаки. Отец выпил свою порцию и вдруг прислонил руку к уху Бынина:

— Слышишь, Василий Андреевич?

— «Марсельеза»! — восклицает Бынин. — Здорово!.. Но... постой, откуда такие часы, какой марки?

— Наша марка, марка «Точмеха», — смеется счастливый отец.

Мастера один за другим подходят послушать его музыкальные ручные часы. Никто из них не знает, сколько бессонных ночей провел отец над этой штукой, никто не знает, сколько раз он бегал на Подгорную улицу к знаменитому баяно-гармонному мастеру Бронникову, настраивал там маленькие штифтики, которые простым глазом, без лупы, не увидишь. Каждый такой стальной штифтик, соприкасаясь с особой шестеренкой, издавал определенную ноту. Тысячи штифтиков сточил и выбросил отец, прежде чем мастер Бронников одобрил звучание.

Ручные или карманные часы, которые каждую четверть часа играют какую-либо мелодию, называются репетиром, это большая редкость. Их выпускала одна швейцарская фир-

ма и то недолго, видимо, выпуск таких часов обходился слишком дорого и был невыгоден. Но часов, которые играют «Марсельезу» и сделаны вручную, еще не было. Мастера не знают, сколько работал над этими часами мой отец, но они понимают, чего это стоит! Они радостно пожимают руку отцу. Отец тоже улыбается:

— То ли еще будет, друзья, такое ли мы еще сумеем сделать. Если... если все будет хорошо...

7. ЛЕТО ОБЕЩАЛО БЫТЬ...

Лето обещало быть прекрасным. Несмотря на материны опасения, я успешно окончил пятый класс. Значит, летом можно отдыхать спокойно. Мы собирались выходные дни проводить в лесу, в тайге, у реки.

Еще зимой один клиент, которому отец починил часы, подарил нам шестимесячного боксера по кличке Маркиз. Щенок рос быстро и теперь превратился в изрядного пса. Маркиз нравился матери. Он носил в зубах с базара сумку с продуктами. Принесет сумку к нашим дверям, сидит, охраняет. Почуют собаки мясо, начнут подкрадываться, он цапнет какую-нибудь псину за бок, все пускаются наутек. А сам, хоть торт в сумку положи, ничего не тронет. Он вообще дисциплинированный. Мы раз утром из дома ушли, вернулись только вечером. Соседи говорят:

— Ваш Маркиз часа четыре уже под дверью скулит.

Только мы дверь открыли, он выскочил и к столбику бросился. А в комнатах было чисто.

С виду пес не красивый и сам об этом знает. Мать, бывало, мизинцем себе нос задерет, указательными пальцами кожу под глазами оттянет, а Маркиз из себя выходит, понимает, что она его изображает.

В один из выходных собрались мы отдыхать за реку, за Томь.

Встали рано, едва солнце сквозь сад пробилось к нам в окно. Все были вялые, заспанные, но спешили. Маркиз же был совсем бодрым: бегал по комнате, подгавкивал, бросался под ноги, мешал. Как он догадывается, куда люди собираются? Ведь он человеческой речи не понимает? Но вот отец скомандовал: «Маркиз, штиблеты!» Он кинулся под кровать и тут же принес коричневые. Отец их отшвырнул и уточнил: «Желтые». И вот чудо: Маркиз выволок за шнурки из-под кровати желтые штиблеты, хотя там стояли еще и черные.

Вообще Маркиз иногда бывает как человек, даже причуды у него свои есть. Заведем граммофон, если вальс звучит, он только хвостом повиливает, но стоит завести фокстрот, он начинает злиться и лаять. Сядет возле самой трубы и будет лаять до тех пор, пока пластинка не кончится.

Мы дали Маркизу нести две сумки с продуктами, отец их связал веревочкой и повесил на спину пса. У нас, у каждого, было в руке по корзине. Мы захватили с собой рыбачьи снасти, байковые одеяла, полотенца, чашки, кружки.

На улице пахло черемухой, тополиным листом, деревянные тротуары были покрыты разноцветным мхом, в щели острая зеленая трава пробивалась.

Недалеко от нашего дома сидела бабка Федоренчиха, в стеклянной баночке с водой у нее плавали кусочки серы, каждый комочек, розовый, аппетитный, насквозь на солнце просвечивал.

— Берите, милашки, по гривне комочек, листовая, сладкая! — тянула бабка. Отец сунул ей рубль и всех наделил серой.

Вышли на центральную улицу, мать серу выплюнула:

— Придумали гадость разную жевать, как верблюды... А ты чего глотаешь? Хочешь, чтоб желудок слипся?!

У пристани толпилось много таких же, как мы, отдыхающих. Они бросались к каждой подходившей к берегу лодке, отталкивали друг дружку, отчаянно шумели. Всем надо поскорее

попасть на другую сторону реки, чтобы занять место. Перевозчики это понимали и повышали цену за перевоз.

— Побойся бога, Бабан! — ругала владельца обласка толстая женщина. — Деньги отдашь и вместе с твоим корытом на дне будешь. При таком риске и рубля хватит.

— С тебя с одной надо пятнадцать целковых брать, по твоим-то габаритам! — отвечал находчивый Бабан.

Мы дождались более надежную лодку. Около нее тотчас началась свалка. Все хотели занять место на «гребях», потому что гребцов перевозят бесплатно, сам перевозчик на корме сидит, правит, а двое должны грести. Мы на «гребях» не стремимся, нам бы просто сесть. Дядя Петя с двумя корзинами рванулся вперед, его хватили за полы пиджака, а он огрызался:

— Чего надо? Перевозчик — мой тесть! Неужели родного зятя он не должен посадить в первую очередь?

Я думал, перевозчик дядю разоблачит, что он не зять, но тот только ухмыльнулся. Дядя занял место и на нас:

— Мотя! Коля! Скорей — сю-да!

Мы тоже лезли в лодку, нас отталкивали:

— Зять влез, а теперь еще и теща!

— А собаку-то, собаку — куда? Всех перекусает! Перевозчик, куда смотришь!

Перевозчику всех слушать некогда, ему надо деньги зарабатывать, пока народ валом валит, поэтому он оттолкнулся веслом, и лодка пошла от берега, разрезая носом прозрачную воду. Дядя Петя унимал крикунов:

— Наша собака гораздо меньше вас лает.

Гребцы попались нам неумелые, наверно, приезжие, не томские, то гребли слишком «мелко», поверху, обдавали всех брызгами, то врезались веслами слишком глубоко, отчего лодка дергалась. Все опять начали кричать, ругаться, теперь уже на гребцов. К тому же, наспех заткнутые паклей и тряпками дыры стали пропускать воду. Маркиз поджимал лапы и поскуливал, мать корила лодочника за то, что людей много посадил, а он с кормы лениво огрызался:

— Кто просил тебя с собакой лезть? Я собаков вообще не вожу.

Я немного струсил, потому что плаваю очень хорошо и если потону, все будут думать, что я плавать не умел. Но доплыли мы вполне благополучно. Правда, когда подплывали к берегу, пассажирам пришлось разуться, чтобы не вымочить обувь, а свои пожитки держать в руках на весу.

Едва лодка ткнулась носом в берег, пассажиры стали выпрыгивать, каждый во всю прыть бежал по песку и зло косился на другого. Важно успеть занять на берегу место получше, чтобы и песчаный пляжик был, и заливчик для купанья, и кусты, чтобы переодеться, да мало ли для чего они могут пригодиться?

Отец вещи оставил нам, а сам побежал, как физкультурник на соревновании. Он беспокоился за наше всегдашнее местечко с золотым песочком, с тальниками и черемухой на берегу, еще там был очень славный родничок с холодной чистой водой. Отец в прошлый выходной спрятал на дне родничка бутылку водки и бидончик с маслом, придавил камнями, чтобы не всплыли. Добежал он как раз вовремя, потому что из кустов выскочил мужчина, увидел усевшегося на песочек отца и крикнул кому-то:

— Не-а! Тута уже сидять какие-то! Дальше надоть!

Такой уж тут закон на берегу: занято, значит занято, рядом уже никто не станет располагаться, чтобы другим не мешать.

Кто при нашем коротком лете сумеет густо и ровно загореть — тот потом осенью в баню спокойно идет: все ему будут завидовать. Вот почему мать, как только мы распаковали вещи, сняла платье, намочила в роднике полотенце, повязала им голову и легла на песок. Отец с дядей Петей насобирали сушняку для костра.

Дядя Петя под таганком огонь развел и стал баранину варить, отец уселся с удочкой прямо в воду. Окуней он нанизывал жабрами на прутик с развилкой и опускал их опять в воду, чтобы были до самой ухи живыми. Маркиз ползал у воды на брюхе и подхалимски вилял задом, дескать, дай, пожалуйста, хоть самого маленького окунечка. Я знал, что когда на веточке будет рыбы достаточно для ухи, и Маркиз получит что-нибудь. Он тогда прямо фокусы делает: подбросит рыбку, сверкнет она в воздухе, клацнет огромная пасть — и рыбки как не бывало, и кажется, что Маркиз даже улыбается.

Когда баранина поспела, все собрались вокруг тагана, отцу досталась самая большая кость, он грыз ее с удовольствием. Потом жара нас разморила, мы постелили свои байковые одеяла около самой воды, где пахло мокрыми тальниками, тихонько потрескивали крыльями разноцветные стрекозы, и уснули.

Я проснулся оттого, что стали покусывать комары. Отец и мать тоже уже проснулись. Мать посмотрела на отца и засмеялась :

— В китайца превратился! Вот умора!

Отца комары или мошки накусали так, что лицо у него распухло, глаза превратились в щелки. Мать смеялась, а он сердито ей говорил, умываясь:

— Подожди, может, и у тебя волдыри будут...

Она достала зеркальце и стала смотреться. Комарам все равно кого кусать, ее они, наверно, кусали тоже, но кожа у нее по-прежнему осталась гладкой, чистой.

Вокруг все померкло, потемнело. Небо застелили черные тучи, они выглядели зловеще. Мы поняли, что будет сильная гроза. Пляжники бежали к перевозу, чтобы поскорее возвратиться в город.

Только мы стали к городскому берегу подъезжать, как из тучи ударил град.

— Головы, головы корзинками защищайте! — кричал отец. — Вот так град-виноград — целое куриное яйцо. Что делается!

Я одну градину в кулаке сжал — здоровенная, правда, на яйцо похожа, будто ее там наверху кто-то специально сделал, Вот бы до дому донести, показать во дворе, а то ведь не поверят. Но градина быстро уменьшалась, таяла. Обидно было, что нечем будет доказать. Я ее в бидон из-под масла сунул, может, там сохранится? Когда уже по городу шли, заглянул в бидон, а там только грязной водички немножко.

На нашей улице повстречалась бабка Федоренчиха.

— Вы знаете, что случилось? Так вы еще не знаете? Большое горе у нас.

Дома по всей Ямской деревянные, пожары случаются нередко. Мать испугалась:

— Ой! Дом наш, наверно, сгорел! Вот так отдохнули! Чужало мое сердце! — и кинулась вперед, потому что оттуда, где нам Федоренчиха попала, нашего дома еще не было видно.

— Не беги зря! — крикнула Федоренчиха. — Целый дом ваш! Беда-то хуже пожара, уж лучше бы пожар!

— Да что ты, бабка, загадками говоришь! — рассердился отец. — Объясни толком.

Мать стояла бледная, а Федоренчиха опять все водила вокруг да около:

— Радуга-то, смотри, с одного красного цвета. Видал? Во-от. А черемуха ноне как цвела! На нее завсегда урожай перед бядой бывает, я так и знала... Я говорила, так оно и вышло, бядато и пришла.

— Да ты скажешь, старая, в чем дело?

— А чо говорить-те, война, деточки, война!

Мы пошли домой, отец надеялся, что, может быть, бабка что-нибудь напутала. Дома сразу радио включили, оно играло марши разные, мы немножко успокоились: что с этой Федоренчихи возьмешь, если из ума выжила? Но тут дядя Петя со двора пришел и тоже сказал, что, действительно, немцы нарушили договор, сам товарищ Молотов по радио выступал.

Вот так неожиданно окончилось для нас лето. То есть, оно, конечно, продолжалось, но нам сразу стало как бы не до него.

Дядя Петя, ничего не сказав домашним, на другой же день побежал в военкомат и подал заявление с просьбой немедленно отправить его на фронт.

Мы провожали дядю, сидели во дворе военкомата, мать удивлялась, что все в обмотках, а дядя — в сапогах. Дядя показал себе на левую руку, потом на ноги:

— Вот здесь были часы «Омега», теперь их нет, зато есть сапоги.

— Сдурел, — сказала мать, — тебя ж должны одевать бесплатно.

— Чтоб я, потомственный казак, ехал на войну в обмотках?!

В этот момент во двор военкомата вбежала Верка, а за ней еле поспевали старики Прасковьевы.

Касьяновна в ноги дяде Пете бухнулась:

— Касатик! Отговори девку, не губи! На хронт за тобой собралась!..

Верка юркнула в дверь к комиссару, а дядя насупился:

— Нужны мне теперь невесты, как медведю салфетки. Чего доброго, еще Банковская с ружьем прибежит.

Распростились мы с дядей, а Верку не взяли, сказали — пусть пока на курсах медсестер поучится.

Отец после отъезда дяди стал мрачным, задумчивым. Ему дали броню на производстве, как незаменимому мастеру. Но вот и Зубаркина, и Богохвалова мобилизовали, остался он с Быниным и Штаневичем. И хотя ему уже за сорок и не очень он здоров, душа у него, видимо, болела, стыдно ему было дома находиться, когда другие люди и его бывшие сослуживцы уже воевали. А тут Андрон еще душу мотал. Пришел раз вечером, попросил по секрету поговорить. Ушли они в спальню. Андрон очень хитро к нему подъехал: сначала показал отцу свое золото — кольца там разные, рубли старинные и золотой песочек. Показал и говорит — сколько, мол, это все приблизительно может стоить? Потом намекнул, что близится трудное время, возможно, карточки на продукты введут. А затем сказал, что у него когда-то язва была, но теперь, перед войной, как назло, совсем рассосалась, то есть болеть — болит, да на рентгеновском снимке ее не видно. Отец удивился: какое отношение язва к золоту имеет? Андрон объяснил: пусть отец немножко золота возьмет, а остальное отправит Софрону, а тот пускай пришлет рентгеновский снимок с хорошей язвой и напишет справку, что эта язва гражданина Штаневича. Отец на людей кричать не умеет. И в этот раз он голоса не повысил, а, наоборот, тихо, очень тихо сказал Штаневичу:

— Поди вон!

Тот испугался, убежал, потом к нам в окно из своего сада заглядывал и говорил матери:

— Вы скажите Коле, что я пошутил, понял-нет? Я его проверить хотел, поняли?

Мать сказала, что если Андрон еще заглянет, то она его пестом ударит. Штаневич заглядывать перестал.

Несколько ночей отец с матерью почти не спали. До меня из их комнаты долетали обрывки разговора:

— Подумай, у тебя ребенок...

— И у других дети.

— Но ты пожилой. Больной. Специалист. Раз оставили, значит — надо.

— Не могу больше ни одного дня так жить...

Из спальни до меня донеслись рыдания матери. Утром они с отцом не разговаривали, у обоих под глазами появились черные круги. Так продолжалось с месяц. А потом они вроде повеселели. Мы сходили в фотографию, снялись все вместе втроем. И на другой день пошли в тот же двор, где провожали дядю Петю.

Отец отказался все-таки от брони. Как больно, грустно было смотреть в его лицо последний раз. Хотелось получше запомнить. Хотелось заплакать, но было нельзя. Мать плакала, а мне вместе с отцом приходилось ее успокаивать.

Потом мы долго торопливо шагали за строем мобилизованных до станции.

И вот на вокзале он отдал матери свои музыкальные часы, на крышке которых выгравированы три большие буквы «Н», что означает Николай Николаевич Николаев.

— Если что, Кольке отдашь, но только когда он сам станет Николаем Николаевичем, чтобы, значит, всем трем «Н» полностью соответствовал...

Мобилизованные быстро погрузились в красные товарные вагоны. Паровоз длинно загудел, и эшелон тронулся. Мы с матерью побежали за вагоном, но поезд нас сразу же обо- гнал. Было видно, что из открытой двери уезжавшие махали нам руками, но где там руки отца — разобрать уже было невозможно. А потом и вагон, в котором находился отец, скрылся за поворотом.

Мы долго сидели на скамье у вокзала. Мать ноги не держали. Она уже не плакала, только вздрагивала. Долго сидели. Потом она встала, оперлась на меня, и мы пошли домой.

8. ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА!

Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут, и жизнь легка,
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка...

Слова этой песенки еще с вечера звучали во мне, а сейчас проснулся и — снова. Прилипнет такой мотивчик — не отвяжешься, хотя в последние дни не было ничего хорошего. Зима такая суровая, словно кто-то недобрый узнал, что у нас топить нечем и есть нечего.

В нашей школе занятия шли нормально только до морозов. К зиме многих учителей взяли в армию, здание школы отдали под госпиталь, а учиться мы стали в старом ветхом деревянном здании. Дров во дворе этого здания не оказалось, и взять их было негде. Дрова были нужны эвакуированным заводам и переселенцам: быстро исчезли заборы и тротуары. Все, что можно было оторвать от домов на топливо — фигурные наличники, ставни — все шло в ход. Но дров все равно не хватало. Стали болеть оставшиеся в школе старички учителя, стали болеть ученики. Некоторые старшеклассники уходили в армию, другие шли на заводы, фабрики.

Не стало в школе чернил, тетрадей. Писали мы с грехом пополам на аккуратно разрезанных старых газетах карандашиками, каждый огрызок карандаша был большой ценно- стью. Юрка Садыс принес однажды чернила, сделанные из свеклы. И, представьте, оказалось, что свекольными чернилами можно писать! Но свекла была не у всех. Вскоре и Сады-су мать запретила переводить свеклу на чернила. Продукты-то стали дороже всего. Верно Андрон предсказал, что вскоре все будут по карточкам выдавать.

Сам Андрон еще задолго до введения карточной системы, сразу после сообщения о нападении врага, стал ходить по магазинам и скупать сахар, соль, муку. Но он брал не только продукты. То мешок калош из магазина притащит, то ящик спичек и сумку махорки, хотя сам не курящий.

Мы же с матерью ничего не покупали. Мы то дядю провожали, то отца. Потом от бабушки из Щучьего письмо пришло, что Софрона призвали в армию, а тетя Шура добровольно попросилась, чтобы ее отправили вместе с мужем на фронт. Теперь они вместе служат в одном военно-полевом госпитале. Бабушка написала, что очень скучно ей одной и трудно, но она должна присматривать за софроновским домом. Дескать, вернутся молодожены с фронта, им еще дом понадобится. Поэтому она не может приехать к нам. И еще потому, что Щучье небольшое село, сельскохозяйственное, продукты там дешевле, прожить в трудное время легче.

А у нас с продуктами, после прибытия эвакуированных, стало очень плохо.

Вчера я встал в четыре утра, иначе хлеба по карточкам не получишь. Шел в магазин и думал: ну, теперь я буду первым! К магазину подхожу и вижу — фигура маячит. Вот черт!

Какой-то дед вперед меня пришел! Ладно. Пусть буду вторым. Стал подпрыгивать, бить ногой в ногу, но все равно мерз и завидовал этому деду, что он в своем тулупе расхаживал, как в крепости. Прыгал-прыгал, повернулся лицом к двору и заметил, что и там кто-то топчется. Глянул и заругался даже потихоньку: во дворе еще несколько человек оказалось, они от ветра туда зашли.

Я тоже стал около магазина бегать, греться. Бегал, бегал, а сам к разговорам прислушивался и выяснил, что, оказывается, там не живая очередь была, а по списку. Я стал спрашивать:

— Список у кого? У кого список?

Подошла тетка в трех шаях и спросила мою фамилию. Потом попросила:

— У кого спички есть — посветите!

— Спички-то нынче десять рублей коробка, — ответил кто-то из сумрака. — Кто тебе их зря жечь станет? Свои надо захватить!

— Хватит того, что я свою бумагу и карандаш трачу! — сердито ответила трехшалева женщина. — Бумага да карандаш теперь тоже дефицит.

Я ее попросил, чтоб она мою фамилию разборчиво написала, а то потом не пустят.

— Ладно! — хмыкнула обладательница списка. — Учить будешь. Ты сто сорок восьмой!

У меня от этого сообщения ноги подкосились. Вот тебе и рано встал, вот тебе и первый! Потом я стал размышлять: раз я сто сорок восьмой, значит не все около магазина ждут, некоторые записались и пошли домой греться. Раз так, то и мне можно идти и вздремнуть, а к открытию магазина вернуться. Сказал деду, а он:

— В пять часов переключку делать будут, кто не явится — вычеркнут.

Часов ни у кого не было. Сколько времени — неизвестно. Вот, думаю, уйдешь, а тебя из списка вычеркнут, и все пропало. А у меня и так хлебная карточка просрочена на день. Теперь такое правило ввели: за вчерашний день отоварят, а ли ты два дня просрочил, хлеб не выкупил, то за день у тебя паек пропал. Легко сказать — выкупи хлеб. Теперь мы прикреплены к магазину на улице Сибирской, в другом магазине нам не дадут. Хлеба привозят мало, кто первый в очереди — тому хватит, а остальные — как знают. Иногда, правда, талоны жмыхом или отрубями отоваривают, но жмых этот — как дерево, и по твердости и по вкусу, а из чего сделан — этого даже мать не могла понять.

Хотя я и бегал, пальцы на ногах у меня занемели. В пять часов начали переключку, тут откуда-то мужчина с другим списком объявился, и у него в том списке было записано сто пятьдесят человек. Ругань началась. Наши доказывали:

— Наш список правильный! Мы его вчера в шесть часов вечера писали!

А люди, которые с тем мужчиной пришли, отвечали:

— Нет, наш список самый правильный, мы его вчера в обед начали писать!

Вот какое дело получилось. Стал я уже двести девяносто восьмым. Все ругались, спорили. Мужчина, у которого сто пятьдесят человек в списке, поднял бумажку над головой:

— Которые мои, за мной! — и побежал на магазинное крыльцо. За ним кинулись и те, которые были его, и те, которые из нашего списка. Я немножко замешкался и оказался в хвосте. Кричу:

— Я сто сорок восьмой! Мне на крыльцо надо!

- А кто-то в рифму отвечает:

— Лезь, если сила есть!

Откуда она у меня, сила, если я два дня хлеба не пробовал? там, на крыльце, какую-то женщину придавили, и она завизжала по-дурному. Вообще тех, кто ближе к дверям был, давили сильно, толпа все прибывала, все сильнее напирала. Я уже и не знал: завидовать или нет тем, которые у дверей. А до открытия магазина было еще далеко: его только в восемь открывают, если, конечно, привезут хлеб. Одно радовало: стоять в толпе было теплее.

Часа три мы там у магазина толкались. Потом, когда магазин открыли, началась такая давка, что я забыл про свой номер сто сорок восьмой, пусть, думаю, буду хоть пятисотым, лишь бы совсем не задавили.

Уже несколько раз случалось так: только моя очередь начнет к прилавку приближаться — хлеб кончается. Так и в этот раз произошло. Я уже у самых весов был, чувствовал, как хлеб пахнет, когда его продавщица большим ножом режет, даже слюнки у меня текли, горло само собой глотать начало, хоть в нем ничего не было. «Хоть бы хватило, хоть б хватило!» — мысленно просил я сам не знаю кого. А впереди девчонка стояла, у нее было много карточек, и ей последнюю булку взвесили. Продавщица крошки в ящик смела и сказала:

— Все!

Покупатели загалдели, кто-то заплакал, а один мужчина кулаком по прилавку стучал:

— У них, наверно, еще есть, проверить надо!

Продавщица сказала, что без милиции никого за прилавок не пустит, что у нее всего одна булка лежит, которой работникам магазина карточки отоварены. Но, может быть, сегодня еще муку подвезут.

Слышим, во дворе заскрипели полозья: муку в самом деле привезли. Пока ее принимали, все волновались, переживали. Потом продавщица снова стала за весы, и я ей сунул свои карточки.

— Во что тебе?

Вот так раз! Во что! Я же про муку не знал, за хлебом собирался.

— Что ты мне голову морочишь?! Не в ладоши же тебе вешать? Следующий!

Я испугался, что мне муки не хватит, сдернул с головы ушанку и на прилавок:

— Вешайте сюда!

Оказалось, что муки дают намного меньше, чем хлеба. В моей ушанке на дне была всего горстка муки. Я засомневался: не обманула ли меня продавщица, некоторые ведь обманывают. Но мне так объяснили:

— У муки припек бывает, потому ее и дают меньше, тесто замесишь, лепешки испечешь, их много будет.

Домой я прибежал с заиндевельными волосами, уши у меня онемели, но я думал о том, правда или нет, что припек получится и лепешек много будет. Хорошо бы, потому что по дороге я не вытерпел и чуть ли не третью часть муки съел. Чтобы растопить плитку, пришлось сломать старый стул, который всегда стоял на кухне. Я видел, что мать расстраивается из-за этого стула, и говорил, что он только зря место занимает, а без него на кухне станет намного просторнее. Жира у нас никакого не было, и мать ухитрилась испечь лепешки, подкладывая на сковородку старые газеты. Бумага кое-где влеклась в тесто, но мать сказала, что немного бумаги нам не повредит, лепешки от нее только толще. Что же касается припека, то он, действительно, получился, но не такой большой, как мне хотелось.

Я поел, постелил на плитку матрац и лег спать. А мать оставшиеся лепешки заперла в сундук и ушла. Я спал долго, почти до обеда, пока плита греть снизу не перестала, мне снились огромные, не обхватить, лепешки. А теперь вот проснулся, и звучит во мне эта самая «Маркиза»:

Ни одного печального сюрприза,

За исключением пустяка.

Кобыла — что? Пустое дело!

Кобыла ваша околела.

А в остальном, прекрасная маркиза,

Все хорошо, все хорошо!

Так с чего мне «Маркиза» вспоминается? Может, потому, что нашего пса Маркиза жалко? Я, например, понимаю: если я голодный, так это из-за того, что война. А Маркиз? Он понял только, что раньше его кормили, а теперь не кормят. Бока стали такие — стиральную доску покупать не надо.

Однажды к нам Банковская пришла. Долго топталась у порога:

— Попроведовать зашла. Сейчас всем трудно, а я в столовой работаю... — и вытащила из-за пазухи целый круг орехового жмыха, на стол положила. Я, было, хотел кусок сразу отломить, но мать на меня так глянула, что я чуть не присел. Смотрю, мать ей жмых обратно подает:

— Трудно — верно, но вы ж нам ничем не обязаны.

— Ну, зачем вы так?

Потом мать вдруг посмотрела на Маркиза, заплакала:

— Нам ничего не надо, а вот невинное животное страдает...

Банковская тоже заплакала и мать обняла. Они поплакали и решили, что Банковская Маркиза отведет в столовую. Будет Маркиз столовую охранять, а ему за это будут давать жирные помои. После этого Банковская опять жмых на стол положила, и они про него вроде забыли, я к нему подкрался и стал понемножку откусывать. И он был лучше всяких пирожных и шоколада, лучше всего, что когда-либо приходилось мне в жизни есть.

А они, слышу, на другое разговор перевели. Сначала Банковская спрашивала, где наш отец, что пишет, потом про Софрона, тетю Шуру, а потом, вроде невзначай, и до дяди Пети дошла. Мать ей все рассказала. Про отца много рассказывать нечего, из Новосибирска он писал в день по два письма, так длилось почти два месяца, а потом вдруг пришло письмо с дороги. Было ясно, что едут на фронт, а куда именно — про это писать было нельзя. С тех пор уже почти три года отец не пишет. Мать посылала запросы, но оказалось, что его часть расформировали, где теперь отец — неизвестно.

Банковская, будто невзначай, спросила:

— А, скажите, Мария, это правда, что тут одна молодая девушка из вашего дома, соседка ваша, просилась на фронт и хотела с Петром в одну часть попасть?

Мать немного смутилась:

— Было. Но, по-моему, он на нее никогда особенного внимания не обращал. Она же еще ребенок...

— А-а! — протянула Банковская и вроде успокоилась.

Она тогда и увела с собой Маркиза. Увести его ничего не стоило, потому что сил у него уже не было. Правда, у порога он попробовал лапами упереться, да и на улице все на наш дом оглядывался, скулил, а Банковская тащила его за поводок.

Это в начале осени было, а зимой раз пришли мы домой, смотрим — Маркиз наш у дверей сидит, поправился, ребер уже не видно, а на шее обрывок веревки болтается. Побыл он у нас ночь, наутро за ним из столовой пришли и хорошо сделали, потому что он уже проголодался, а нам его накормить нечем.

Столовский дядька сказал, что теперь нашу собаку на цепь посадят, чтобы больше не отрывалась. Потом Маркиза долго не было, а несколько дней назад он опять объявился, уже без веревочного обрывка. Выяснилось, что он цепь порвать не мог и потому умудрился выскользнуть из ошейника. Столовский служащий снова пришел и сказал, что если Маркиз еще раз убежит, то за ним больше не пойдет, раз эта собака такая неблагодарная. Тут мать стала топтать на Маркиза ногами, кричать. Он только обрубком хвоста вилял. И опять увели его. Теперь уж наверное не придет.

Я встаю с плиты и шагаю в школу. Под мышкой у меня четыре лыжные палки с кольцами. Я их сам сделал, гладко-гладко отшлифовал осколком стекла, чтобы нигде — ни сучка, ни задоринки. Военрук сказал, что каждый ученик должен к сегодняшнему дню сделать по две пары таких палок, их отправят на фронт. Я старался, чтобы палки получились легкими, прочными, удобными. Может, они там на фронте нашему отцу попадутся или дяде Пете. Ну, а

если незнакомому бойцу — тоже хорошо. Пусть немного, самую капельку, но помогут эти палки нашей армии воевать с фашистами.

9. ВЕРЕВОЧКА, ВЕРЕВОЧКА...

Каждый день к нам в город прибывают эшелоны, то с ранеными, то с рабочими и оборудованием эвакуированных заводов.

Худые, обросшие щетиной рабочие на больших санях, вручную, волокут станки к зданию школы или института, и вот здесь уже не школа и не институт, а завод. Станки только установлены, а в окна видно, что над ними уже склонились токари, из-под резца спиралью ползет сизая стружка. Новым заводам не хватает топлива, электричества. Во всех жилых домах отключен свет. Работают люди днем и ночью.

Мать тоже устроилась на работу в бывший «Испр». Теперь это учреждение стало детдомом, в котором живут дети, потерявшие родителей во время эвакуации. Мать устроилась туда машинисткой. Но детдом неожиданно перевели за Томь в Татарский городок. К тому же всех мужчин-воспитателей вскоре отправили на фронт, и матери пришлось не только на машинке печатать, но и работать воспитательницей. Она стала приходить домой очень поздно, а в сильные морозы оставалась ночевать в детдоме, потому что путь через реку дальний и опасный.

Кроме хлеба, который я получаю по карточкам, у нас в доме почти ничего съестного нет, а вещи продавать или менять на продукты мать не хочет. Надо ей все сохранить до возвращения отца.

Я все думаю: как бы помочь ей хоть чем-нибудь? Вот почему я согласился пойти с Юркой Садысом продавать кисель, который его мать делает из овсяной лузги. Юрка обещал со мной расплатиться, если я ему помогу.

Внизу в дверь стучат. Наверняка это Юрка пришел. Я все же на всякий случай спрашиваю:

— Кто?

— Дед-пихто! — отвечает за дверями Юрка Садыс. — Долго прохлаждаешься, лимонадного воспитания! Мы уже давно кисель наладили, а тебя все нет!

— Сейчас, — говорю я, открывая дверь. — Ты иди, я догоню!

— Давай, давай! Запирай и пошли!

А мне надо наладить веревочку-секрет. Это мать придумала, она ведь у меня башковитая. Сейчас часто грабежи бывают, нас с матерью все время дома нет, так она что придумала. Просверлила в двери маленькую дырочку, через это отверстие пропускается тоненькая веревочка, которая там внутри, к дверному крючку привязана. Выходишь, берешься за нее, крючок приподнимаешь и прикрываешь дверь. Потом осторожно веревочку опускаешь, чтобы крючок в петлю попал, конец за дверную обшивку прячешь. Теперь, если вор придет, он никакого замка не увидит, — подумает, что кто-то дома есть.

Я вытягиваю веревочку. Юрка хлопает глазами:

— Ты чего там мудришь? Замок, что ли, потерял?

— Ничего я не потерял. Мать «секрет» придумала, никто не догадается, что нас дома нет.

— А-а! — тянет Юрка. — Хитрущца!

Мы проходим к Юркиной квартире, мимо стаяк, двери которых давно порублены на дрова, хранить в этих стайках теперь нечего.. Тетя Агния смотрит на меня долгим непонятным взглядом:

— Ну... мать-то плохо накормливает? Чо-то тощей стал?

— Хорошо, — отвечаю я, глядя на ведро с лузгяным киселем. Он сейчас очень похож на кипяченое молоко с пенками.

Тетя Аганя замечает мой взгляд:

— Он с виду скусный, а так скулу ломит, кислятина. Два дня ту лузгу замачиваешь, полдня паришь, потом цедишь, отстаиваешь, только тады варить можно. А счас его ись еще нельзя, навроде воды. Пока вы его до стройки донесете, вакурат загустеет. Да все одно скусу не прибавится. Его ись разве с большого голода. Тащите. У строителей обед будет как раз...

Мы берем ведра, выскакиваем на улицу. Юрка передает мне свое ведро:

— Тащи, работничек! Зарабатывай кисель!

— Ты что — эксплуататор?

Я злюсь: ведра такие тяжеленные, и нести мне одному!

— Я же говорю — нежного воспитания! — ехидно щурится Садыс. — Ись — мужичок, а работать — мальчик.

Бросить, что ли, эти ведра? Пусть Садыс сам тащит! Но все же хочется попробовать, что это за лузгяной кисель такой, матери сюрприз сделать. Ладно, поташу ведра один, раз Юрка такой бессовестный. Улица идет в гору, я тяжело отдуваюсь, Садыс берет у меня одно ведро:

— А то переломишься...

— Смотри сам не переломись!

Впереди пустырь, на котором возводят какое-то здание, наверное, для завода. Строители — все больше старики, они и по возрасту и по здоровью для фронта не годны. Юрка в %акт нашим быстрым шагам бодро напевает:

Стройтрест с котелком, Ты куда шагаешь? «За пайком, за пайком! Али ты не знаешь?»

Строители и вправду все с котелками, они их за дужки на пояса повесили, котелки позвякивают, как колокольцы. Подходим ближе. Да, достается, видать, строителям. Одежка легкая, а ведь они целый день — под открытым небом. Пальцы в ссадинах от кирпичей. Посинели от холода.

Юрка кричит:

Кисель овсяный, как огонь!

Поешь и будешь ржать, как конь!

Только что топоры ходили вприсядку по бревну, и вдруг все смолкло. Нас окружает толпа строителей. Я вижу рядом задубевшие от мороза худые лица, глубоко ввалившиеся глаза.

— Почем, мальчик, твой кисель? — спрашивает длинный тощий старик с обмороженными ушами, из которых сочится сукровица. Сразу видно — откуда-нибудь с юга. Мы, сибиряки, уши до такой степени никогда не обмораживаем, у нас многие для форса в самые лютые морозы в кубаночках щеголяют.

— Червонец стакан! — объявляет Юрка.

— Это что же так дорого? — грустно удивляется старик.

— За то, что в городе! — бойко отвечает Юрка. — Поезжай в деревню — там дешевле.

Старик, покачивая головой, отдает Юрке десятку и быстро проглатывает кисель.

— Ну, как, дядя, можно есть той кисель? — осведомляется строитель-украинец.

— Главное — горячий! — неопределенно говорит дед, облизывая стакан.

Юрка черпает из ведра стакан за стаканом, торопливо сует червонцы за пазуху. Строители пьют кисель, крикают, как после водки. Одно ведро у нас уже пустое, второе быстро пустеет. Впервые я в роли продавца. Оказывается, это лестно: чувствуешь, что люди зависят от тебя. Я одергиваю особо нетерпеливых:

— Куда лезете? В порядке живой очереди!

— Швидче! — поторапливает украинец, у него очередь еще не подошла, а обед кончается. Я увлекаюсь ролью продавца и не сразу замечаю, что кисель и во втором ведре уже почти кончился.

— Мне-то оставь! — шепчу я Юрке. — Договорились же!

А он делает вид, что не слышит, вот уж ладонью на дне ведра последнее соскребаёт.

Все! Кончился кисель! Ладно! Я гневно плюю и собираюсь уйти.

— Чего ты в пузырь лезешь? — останавливает меня Садыс и сует червонец. — Во! Бери! Кисель — кислятина, а это все же деньги.

Ну, хитрец! Все верно рассчитал: киселя я мог бы съесть и два и три стакана, а так — червонец сунул и в расчете. Сколько раз я давал себе зарок с этим Садысом не связываться!

Я беру червонец и поворачиваюсь к Юрке спиной. Пусть идет домой один. Даже идти рядом не желаю. Сегодня занятий нет, так схожу я к Витьке Кротенко. Это настоящий товарищ. Правда, он с матерью тоже голодует и ничего у него съестного нет, зато человек честный. Вот приглашу его сегодня в кино, то-то обрадуется. Война идет, все подорожало, а билеты в кино как стоили копейки, так и стоят. Истратим мы совсем немного, остальное матери отдам.

Витька живет в маленькой комнатухе. Тут и печка, и две кровати стоят, на одной Витькина мать спит, на другой — он сам. Сейчас Витька сидит посреди деревянной кровати, как индеец, завернувшись в одеяло, и раскачивается как маятник. Он всегда так раскачивается, когда книжку читает. Я приглашаю Витьку в кино. Он с радостью соглашается:

— Ладно. Только сперва давай жаренки сделаем, у меня тут очистки есть, сейчас помоем.

Плита еще топится. Витька подбрасывает в топку кусок похожего на коричневый камень угля, чугун моментально розовеет. Мы вытираем тряпкой железку, раскладываем на ней вымытые очистки. От плиты идет вкусный дымок. Через несколько минут переворачиваем очистки, поджарившаяся их сторона покрыта золотисто-розовыми аппетитными пупырышками.

— Тут есть толстые, попадаются! — хвалится Витька, хрустя ароматными кусочками, я тоже вонзаю зубы в горячий дымящийся кружок. Это не еда, конечно, так, развлечение.

Витька эти очистки часто жарит, а у нас никаких очистков нет: мать купила особенный круглый нож, который снимает с картошки лишь кожицу, тонкую, как папиросная бумага. Жаренки сладковато-тошнотворные, от них слегка кружится голова, но все-таки — горячее, пахучее, и зубам работа.

Можно идти. Витька надевает телогрейку. На ногах у него стезонки, видно, мать ему сшила из лоскутков, есть и чуни, они большие — две старых баржи, он их подвязывает к стезонкам проволокой. Подвязал и ногой для проверки топнул. Гоп-ля! Виват! В хорошем настроении выходим на улицу.

На нашей окраине тихо, только изредка проскрипят шаги, — идет какой-нибудь старичок. Проходим в центр города. Мимо бывшего универмага, мимо сквера, мимо притихших закуржавевших зданий, грохоча, посвистывая и обдавая все вокруг искрами и копотью, проходит маленький и очень дряхлый паровоз. Он тянет за собой три платформы с березовыми дровами. На задней платформе сидит охранник с винтовкой. Колебание от рельс передается тротуару.

— На электростанцию колотит, — кивает на паровоз Витька, — прямо по центру линию провели. Студенты тут работали, насыпь делали.

Теперь поезда стройматериалы для новых заводов возят да топливо на электростанцию.

— А ты слыхал, что каменный мост скоро провалится? — спрашиваю я. — Он ведь только на пешеходов рассчитан. Говорят, уже трещину дал. Может, посмотрим?

Мы поворачиваем к мосту, где четыре каменные колонны видны издалека. Отец мне рассказывал, что этот мост сто лет простоял в том виде, каким его Батеньков спроектировал, и называется Думским, так как неподалеку дума располагалась, а потом пленные японцы новый мост из бетона выстроили.

Мы спускаемся по косогору ближе к Ушайке, утопая по колени в снегу, заглядываем под своды моста. Снег здесь в черных крапинках копоты, каждый звук, даже шорох звучит громче, чем обычно, длинно как-то звучит. Вон и трещина, каменная облицовка лопнула, а если она разойдется? Я представляю, как паровоз с грохотом и шипением проваливается под лед, летят

брызги, обломки камня и железа... Я рисую эту картину Витьке, он показывает на подведенные под днище моста толстенные бревна:

— Не дрейфь! Кто эту дорогу вел? Студенты. А у них знаешь, как котлы варят? Видал, опоры какие подвели? Они, брат, на глаз не делают, все подсчитали: сколько тонн в этом паровозе и сколько эти бревна и мост могут выдержать. Иначе бы и делать не стали, что им, под суд охота?

— Может, они обсчитались? Студенты тоже всякие бывают,— возражаю я, но на сердце делается легче. Ладно, хоть мост сохранится, а что проспект закоптили, так ничего, после войны очистят. Теперь можно спокойно идти в кинотеатр, который все в городе называют ласково: «Максимкой», а вообще-то он — имени Максима Горького.

Проходим в зал, там уже темно, сейчас картина начнется. Американская. У них все картины веселые, у американцев. Всегда пальба, драка, много смешного, и в конце миллионер какой-нибудь бедной девушке все свое богатство завещает, и она тоже становится богатой и ездит в собственной легковой автомашине. Эти картины американцы нам в качестве помощи предоставляют. Что ж, великое дело — настроение людей поднять.

И вот на экране поет прекрасная Дина Дурбин. И смотреть приятно, и слушать: голос какой! Только конец мне не понравился. Дина Дурбин в подвенечном платье выходит в сад и кормит лошадь из своей шляпы сахаром. Полная шляпа сахара, и все какой-то лошади! Я Витьке об этом говорю, а он:

— Это только у нас на базаре сахар — пятьдесят рублей стакан. А там кругом сахарный тростник растет, подошел и жуй!

— Ну, а если у них его много, так нам бы прислали, нечего зря лошадям стравливать.

Витька предлагает под стулья залезть. Мы иногда так делаем: посмотрим один сеанс, под стулом спрячемся и на второй останемся. Но мне второй раз смотреть на эту лошадь, то есть на Дину Дурбин,— не хочется.

Мы выходим из зала. Морозец с ветерком. Снежок похрустывает.

— Есть! — кричит Витька. — Нашел! — Он отбивает своими чунями чечетку: — Талоны в лимитную столовую! Два! Как раз!

О Витькином таланте всегда что-нибудь находить я знаю давно. Ходим вместе, я иногда специально иду и пристально под ноги смотрю, и ничего не нахожу, а он и не смотрит, а находит. Как это у него получается? Он пока в школу, бывало, идет, обязательно что-нибудь найдет: или перышко с шишечкой, или пятак, или перочинный ножик. Но талоны... Разве может быть, чтоб их кто-то в наше время потерял?

— Посмотри,— говорю я ему с деланным равнодушием,— может, просроченные?

— Какие просроченные?! Сегодняшний день! — Витька осторожно укладывает талоны во внутренний карман телогрейки.

— А как же тот, который потерял их? Может, в милицию их сдать?

Витька даже в лице меняется:

— Еще чего? Он каждый день в этой столовой ест, а мы раз в жизни не можем? Пусть в следующий раз не теряет.

Лимитная столовая — на набережной Ушайки, до нее рукой подать. Мы входим в большой пустоватый зал, здесь все обедающие сидят в пальто и шапках, холодно, только из кухонной амбразуры тянет теплая запашистая струя.

У Витьки ноздри вздрагивают:

— Эх, как пахнет!

К нам подходит официантка:

— Ваши талончики?

Вот интересная жизнь. Даешь две маленькие бумажки. Обыкновенная бумага, очень даже плохая, серая, ни на что не годная. За эти два обрывочка бумаги вам дадут настоящую еду,

только потому, что на них печати стоят. Чудеса! Почти сказок. Боязно только, вдруг официантка скажет: «А талоны-то не ваши!» Но она говорит:

— На первое сегодня витаминный суп с крапивой, очень полезный, на второе — перловка. Могу по желанию заменить: принести два первых или два вторых. Чай не сладкий, сахара нет. — Пойдет, без сахара! Несите первое и второе! — солидно говорит Кротенке.

Напротив нас за столом сидит худущий дядька. Одет как-то чудно: на ногах обмотки, на голове пилотка, а пальто гражданское. Талонов у него оказалось целых четыре штуки, и на все он попросил супов принести. Ему и принесли восемь супов. Дядька достает из внутреннего кармана короткую алюминиевую ложку, тщательно вытирает ее полый своего пальто и склоняется над первой миской. Ложка у него так и мелькает — от миски ко рту и обратно, будто машина какая работает. Не успеваем мы и половину своих супов съесть, как дядька опоражнивает четыре мисочки, а ложка у него в прежнем темпе мелькает и мелькает, на висках и на носу пот выступил, он ничего вроде не замечает, не утирается, только слышно: Хлюп! Хлюп! Хлюп!

— Убиватель супов! — шепчет Витька.

— Тише! — отвечаю я. — Тише! А то он и нас убьет. Психический какой-то. И где он столько талонов взял? Может, заслуженный какой?

— Заслуженный? — шурится Кротенке. — Выменял на толкучке или купил. Сейчас все покупают и продают. Голодяга!

— А мы не голодяги?

— Мы спокойно едим.

Мы, правда, едим спокойно, размеренно. Куда торопиться? Не каждый день в столовой бываешь. К тому же хочется подольше удовольствие растянуть. А суп, действительно, очень вкусный. Мне картошки кусок попался, а крапива по вкусу капусту напоминает, сразу чувствуется — полезная; еще в супе плавают несколько желтых блесков постного масла. Вот как бывает: столько лет нас матери за всякие провинности крапивой жалили и не знали, чем жалят. А недавно в газете профессор Вершинин написал про крапиву, что она и питательная, и витаминов в ней много. Жаль, что зима сейчас, а то бы я вокруг нашей усадьбы всю крапиву выдергал. Ну, ничего, придет лето...

Убиватель супов давно ушел. Мы допиваем чай, заваренный сушеной свеклой. Он и без сахара сладит, цвет у него красивый — сине-розовый, как раствор марганцовки. Сиди не сиди, а когда-то уходить отсюда надо. Встаем, и тут меня кто-то окликает. Оборачиваюсь — Банковская. Берет меня за плечи, прижимает к себе.

— Ну, как вы там поживаете? Как мама? Что дядя пишет? Про нас... то есть про жизнь в Томске, ничего не спрашивает?

Она раздумялась, эта Банковская. А что я ей могу рассказать о дяде? Он прислал всего два письма, в каждом было по четыре слова: «Жив. Здоров. Служу. Корун». Он, видимо, читал книжку про Суворова, который именно так кратко сообщал родственникам о своей службе. Кроме того, дядя знает, что о службе ничего писать нельзя, все равно военная цензура вычеркнет, а о своей личной жизни он сообщать не желает, да и какая на войне личная жизнь? Но Банковская так на меня смотрит, что я быстро придумываю, что ей сказать.

— Дядя интересуется, как вы живете. Привет вам передает!

Банковская просит меня подождать, выходит куда-то и возвращается со свертком:

— Тут гостинцы.

— А Маркиз где у вас?

— Он днем в сараюшке сидит, запираем. Ему у нас хорошо, привык уже, ты не беспокойся. Ну, извини, мне бежать надо, работа. Так ты заходи.

Мы идем в столовский двор, к сараю. Я заглядываю в щель, темновато. И вдруг — жалобное повизгивание. Вон он Маркиз, на живот лег, учуял ведь меня.

Мы собираемся уходить, а Маркиз грудью на дверь бросается. Я разворачиваю сверток, который дала тетя Надя. Там говяжья кость и две сваренные картошки. Отламываю полкартошки и бросаю в щель Маркизу. Он, конечно, тут сытый, но неудобно уйти от него, ничем не угостив. Он нюхает картошку, не ест, снова бросается на дверь. Но что же делать? Он должен жить здесь, ничего не поделаешь.

Провожая Витьку домой. Сегодня у нас уроков нет — опять дрова в школе кончились. А завтра нам учиться в четвертую смену. Витька машет рукой и скрывается в своей ограде. Он спешит, пока совсем не стемнеет, дочитать книжку. Витькина мать иногда приносит с фабрики в пузырьке машинное масло. Налиют его в консервную банку, спустят тряпичный фитилек, и он горит потихоньку. Витька раз и мне машинного масла дал. Я тоже сделал светильничек. Ничего, даже читать можно.

Вот и наше крыльцо. Я ищу веревочку, но ее почему-то нет. Дергаю дверь: так и есть — открыто. Значит, мать уже вернулась. Что-то рано сегодня. Веребочку так дернула, что даже оторвала. Наверное, не в духе. Я поднимаюсь по лестнице. Уже стал ногой на порог, но что-то останавливает меня. Я вдруг, сам не знаю почему, поворачиваюсь и кубарем слетаю по лестнице. Что это со мной? Не хочется мне туда идти, хочется сначала посмотреть в окно: мать ли там или кто другой? Да кто там может быть, кроме матери?

Я тащу из стайки лестницу и приставляю к нашему окошку. Взираюсь. Если мать меня увидит, что ей тогда сказать? Может, не надо заглядывать, а пойти домой да и все? Но я уже наверху, прикиваю носом к холодному обжигающему стеклу.

Сквозь морозные узоры видно плохо, но все же разобрать можно: вон она мать, стоит в своей телогрейке с большим узлом в руке. Стирать, что ли, собралась? А если стирать, то почему у нее в другой руке чемодан? А вон — кто это? Человек какой-то у дверного косяка стоит. Может, кто к матери в гости пришел? А что этот человек в руке держит? Не разобрать, то ли линейку, то ли еще что. И вдруг меня осеняет: финач он держит, вот что! И вдруг мать оборачивается, подходит к тому окну, в которое я заглядываю. Я вижу совсем не материны кошачьи круглые глаза, злые, испуганные. Это мужчина, вон у него, хоть сквозь куржак плохо видно, но кажется — усы.

Я спрыгиваю вниз. Зачем-то бросаюсь к стайке. Останавливаюсь. Что же это происходит? Надо звать кого-то. А вдруг померещилось? Стекло-то застывшее, узоры такие, что может показаться все, что угодно. Видел я этих мужчин или не видел? Как же не видел? Кошачьи глаза мне даже немного знакомыми показались. Я стучу к Прасковьевым, но их нет дома. Старики, видно, куда-то ушли, а Верка еще с курсов медсестер не вернулась. Выскакиваю из ворот, бегу к Штаневичу, молочу ногами в калитку. Андрон выходит не сразу, наверное, что-то ел, губы у него жирные. Смотрит на меня, хочет заругаться, но передумывает.

— Ты, понял, что-то бледный очень? Ты чего дрожишь? Замерз?

— Ничего я не замерз! У нас дома кто-то есть!

— У меня, понял-нет, тоже дома кто-то есть.

— Вы не могли бы со мной к нам домой пойти?

— Это еще зачем?

Андрон теперь очень важным стал: товарища Елькина на фронт отправили, а сосед наш за него председателем артели работает. Раньше он к нам ходил, а теперь ни ногой — начальник. Я ему говорю:

— Мне очень нужно!

— Ну, если очень, то пойдем, только мне некогда, — недовольно говорит он. Наверное, думает, что мы у него займы просить будем, поэтому вид у него такой кислый. Мы подходим к нашим дверям. Я объясняю Андрону, в чем дело, но должно быть, не очень складно, он никак не может взять в толк — что мне от него надо. Только когда по лестнице стали подниматься, до него дошло: он схватил меня за руку, потянул назад:

— Не понял я, понял, что же это такое? Ты почему мне-сразу не сказал!

А у самого губы посинели. Он меня выдергивает из сеней и грозит мне пальцем:

— Можно так, а, можно? Ты знаешь, понял, так не шути... Как же быть? У меня телефона нет. А? Кого же позвать? А?

— Вы что тут делаете? — слышу я знакомый голос.— Андрон Иванович, здравствуйте! В гости к нам?

Я бросаюсь навстречу матери, которая направляется к дверям:

— Не ходи!

— Да в чем дело? Что с вами?

Мы с Андроном пытаемся короче и понятнее объяснить, хотя нам самим еще не все ясно. Она же понимает нас с полуслова. Сбрасывает рукавицы на крыльцо, берет лопату, что> стоит у нас всегда внизу в сенях, и быстро поднимается по лестнице. Я ее догоняю. С ней — совсем другое дело, хоть куда можно идти. Никакого страха и в помине нет. Оглядываюсь — Андрон поднимается за нами, но не торопясь, с некоторой опаской.

Мать рывком распахивает дверь, выставляет вперед лопату и бросается на кухню. Ой! Вот, сейчас... Но ничего не происходит. Мать так же решительно шагает с лопатой в комнату. Все тихо. Я захожу, озираюсь, Андрон за мной. Мать ставит в угол лопату и прохаживается по комнате. Наверное, все в порядке, раз она так спокойна. Если что — она бы ругаться стала. Но она не ругается, обыкновенным голосом, вроде равнодушно даже, говорит:

— Так и есть. Обчистили... Все взяли. Шифоньер пустой, ни одного костюма. Сундук взломали, инструмента нет. Нег и часов, которые столько лет отец делал. Даже посуду унесли. Не меньше трех человек тут было. Точно...

— В милицию надо сообщить! — советует Андрон.

— Сообщим,— говорит мать,— почему не сообщить. И часы с репетиром приметные, на них три буквы «Н» выгравированы. Таких вторых часов в мире нет. Только в милиции теперь одни старики да женщины, их люди не настоящими милиционерами зовут. Да и дела у них есть поважнее, чем наше барахло искать. Так что надежд — никаких.

Мать подходит к столу, берет в руки недопитую бутылку, деловито наливает остатки в стакан, нюхает:

— Водка! Выпивали. Точно, трое было. Вот, три стакана из буфета достали.

Она выплескивает водку на пол. Садится на стул и смотрит в стену, словно там что-то нарисовано.

Андрон качает головой, сочувственно цокает языком и почему-то внимательно смотрит на меня.

— Вы не расстраивайтесь, понял. Жалко вещей, конечно. Может, еще найдутся. А вот у вас помощничек подрастает. У отца-то, понял-нет, золотые руки были. И сыночек ваш, я помню, неплохо за часы брался. У нас в мастерской теперь один Бынин, всех под метелку на фронт замели, и Зубаркина, и Богохвалова. Учеником бы его, понял, оформить? Все же оклад, карточка по рабочей норме. Я, понял, все устрою по старой дружбе, а?

— Пусть сам решает,— говорит мать и смотрит на меня грустно-грустно... Встает, берет бутылку и запихивает ее в мусорное ведро.— Сволочи, табачной пыли на пол насыпали, чтобы собака след не взяла. Мастера...

Как она, даже в такой обстановке, все заметить сумела? И не плачет. Да, хоть и женщина, а характер казацкий. А у меня женский характер: я и плакать не хочу, а слезы сами льются. Мать подходит ко мне и вытирает слезы со щек жесткой теплой ладошкой.

10. ОКНО НА ПРОСПЕКТ

Я сижу за тем самым верстаком, где прежде сидел мой отец, и смотрю в то самое окно, в которое он когда-то впервые увидел мою мать. Теперь лето, но по проспекту никто не гуляет.

Нет мороженщиков. Магазины заперты. Пройдет торопливо озабоченный военный, простучит костылем инвалид, пробежит тощий студентик с конспектами под мышкой, и опять тихо. Неподалеку в витрине «Окно ТАСС» висит плакат, на котором изображен Гитлер. Один глаз фюрера прикрыт челкой, другой мальчишки перочинным ножом выколупали. Перед Гитлером бутылка и внизу подпись: «Гитлер сводки пишет с водки!»

Фашистов под Москвой остановили. Может, отец там тоже воевал, но мы ничего о нем не знаем. Тетя Шура с Софроном служат в полевом госпитале, мы надеялись, что они там на фронте где-нибудь с отцом встретятся и им сообщат, но они его не видели. Всякий раз, когда мимо проходит старичок почтальон, я жду письма, но боюсь, как бы вместо него не сунули в ящик «похоронку». Многие уже получили. Приходила к нам заплаканная жена мастера Богохвалова. Мы с матерью ее успокаивали. Бывают ошибки. На одного знакомого прислали «похоронку», а он вскоре явился домой — отпустили по ранению.

Погиб на фронте ученик отца Леня Зубаркин. Вырос он в детдоме, семьи завести не успел, и «похоронку» принесли прямо на работу. Бынин эту бумажку долго рассматривал, потом пошел куда-то и возвратился в мастерскую пьяный. Неделью ни с кем не разговаривал.

В госпитали поступают все новые раненые. Сейчас фашисты лезут на Кавказ, к Волге рвутся. Говорят, они собираются зайти в тыл Москве, окружить ее. Из блокадного Ленинграда в детдом, где работает мать, привезли отощавших, измученных детей. Население собирало для них продукты. Последнее отдавали.

Я работаю, посматриваю в окно, а сам все думаю о веревочке. Не Садыс ли открыл ее секрет? Ведь, кроме него, наверно, никто ее не видел? Садыс сейчас на монтера-связиста учится. Ходит важный, говорит, что скоро к себе в квартиру телефон проведет и будет разговаривать с кем захочет. Я его про веревочку не спрашиваю, все равно не скажет. Я по глазам пытаюсь выяснить — его ли это работа. Но глаза у него синие, с нахальными лучиками. Ему в глаза хоть час смотри, он и не моргнет даже. По таким глазам ничего не узнаешь.

Тетя Агния считалась женщиной бедной, но оказалось, что прожить в голодное время ей легче, чем нам. У нее много родственников в деревне. Она к ним ездит, привозит лузгу для киселя, картошку. Иногда помогает родственникам продавать на базаре овощи, и они за это кое-что ей дают. То-то Садыс не худеет, а толстеет, будто никакой войны и в помине нет.

При отце я готов был целыми днями сидеть в мастерской. Я и раньше, бывало, починал часы: разбирал, собирал, чистил. Но то было вроде игры, утеряйся какая деталь или сломайся — отец рядом. А сейчас я сам за все в ответе. Когда не просто так работаешь, а по обязанности — это совсем другое дело.

Я много про часы знаю. Наслушался, насмотрелся еще при отце в мастерской.

Механизм часов сохранился почти в том же виде, как и несколько столетий назад. Пять колес: анкерное, секундное, пятидраме, средник и часовое. Ну, весельное еще есть колесо, его обычно не считают, потому что оно больше на шестерню похоже. Потому и говорят начинающим, что в часах — пять колес. Когда часы были огромными, башенными, то и колеса были такими, что часовщики, наверно, приходили их ремонтировать с топором и кувалдой, а теперь эти колеса в ручных и карманных часах только в лупу и разглядишь.

"Знать-то я много о часах знаю, но одно дело знать, а совсем другое — делать своими руками. В этом я теперь убеждаюсь каждый день. Вот починал я карманные большие часы дореволюционного выпуска «Павел Буре», там в серебряном корпусе мелкими буквами написано: «Поставщик двора Его Императорского Величества». Механизм простой, довольна крупный, любой подмастерье починит. Захватил я пинцетом винтик и чуть нажал — он вылетел из пинцета, как пуля, сверкнул, а куда делся — неизвестно. Стал я все с пола сметать щеточкой на бумажку. Полдня под верстаками лазил, еле нашел. Бынин потом подошел, взял мой пинцет, который: часовщики называют корнцангами, посмотрел на концы пинцета в лупу и покачал головой:

— А еще сын Николая Николаевича Николаева! Вдруг, р-раз — у меня волос выдернул! Я разозлился:

— Если я винтик потерял, так можно за волосы дергать? Не старые времена!

Бынин положил мой волосок на часовое стекло и попробовал его захватить корнцангами. Ничего не вышло. Он кивнул:

— Ну вот. Если корнцанги волос не берут, значит у них концы не параллельны, испорчены. Простым глазом и даже в лупу этого не увидишь. Дядя за тебя будет концы корнцангов править? Так дядя твой на фронте сейчас...

Стало стыдно. Я ведь концы эти правил, но, видимо, плохо выправил. Знаю, что надо править, а не умею, не получается. Я постеснялся Бынину в этом признаться. Подвигал концами корнцангов по стеклу, сделал вид, что выправил, а сам продолжал этим негодным пинцетом работать.

Потом Бынин заметил, что я отвертки и маслоподавки, маленькие иголки, которым в часы масло пускают, вытираю о рубаху, и опять меня выругал. Очищать отвертки и маслоподавки от грязи можно только в контейнере с бузиной. Это маленькая коробочка, а в ней прутики вертикально торчат, один к другому прижатые. О мягкую сердцевину бузины и чистят мелкий часовой инструмент. А у меня бузины не было. Ведь у нас весь отцовский инструмент украли. Конечно, я мог бы себе нынче летом бузины нарезать, но я как-то не догадался. Бынин пояснил, что, когда я вытираю маслоподавку или отвертку о рубаху, то на них остаются невидимые глазу волокна ткани, потом я эти волокна на инструменте в часовой механизм занесу.

Да, долго я на часовую работу в мастерской смотрел, но многого разглядеть не сумел. Теперь это с каждым днем все больше выясняется. Вот сейчас ко мне должна одна клиентка запасами прийти, а я у ее часов волосок спутал и распутать не могу. К Бынину же мне неудобно уже обращаться. Не будет же он каждый раз за меня работу делать.

Дамские малюсенькие часы в продолговатом корпусе мастера называют «гробиком» не зря, их очень легко «угробить». Ах, не брать бы мне их, да хотелось заработать. Скоро клиентка придет, что я ей скажу?

Бынин сидит на высоком табурете с лупой в глазу, ничего не зная о моих переживаниях, точит ось и напевает: Все говорят, что я ведра починяю, Все говорят, что недорого беру!

Беда! Были б это «кировские», так я, может, сам бы наладил. Их раньше выпускали только карманные, а теперь и в ручной корпус стали вставлять. Смех механизм здоровенный, словно к руке чайное блюдце привязано. Но у моей клиентки часы швейцарские, вот и мучайся теперь с ними. Не могла себе «штамповку» завести. Бынин «штамповки» в руки не берет. Сразу клиента спрашивает:

— У вас помойка есть? Тот удивляется:

— Есть. А что?

— Выбросьте туда вашу американскую штучку.

«Штамповки» нам американцы прислали в качестве помощи. Их так и называют, потому что они — из-под штампа. Голая латунь, без полировки, без камней, гнезда для осей на-сверлены и все. Баланс простейший, как у будильника, на конусах. Идут со страшным шумом. Год пройдут — выбрасывай, гнезда для осей разносятся — и все.

Зачем американцы такие часы выпускают? Бынин мне объяснил. Американский глупец приходит в магазин, смотрит: часы, корпус, стрелки, циферблат — загляденье, а стоят всего два доллара. Он берет их. Год носит, выбросит и опять такие же берет. За двадцать лет он на эти часы сорок долларов истратит. А если бы одни швейцарские за сорок долларов купил, сам всю жизнь носил бы, сын всю жизнь носил бы да и внуку, может, еще осталось бы. Американцу кажется, что он на этой «штамповке» сэкономил. Правильно один знакомый отца говорил, что он не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. А фабрикантам выгодно: долго ли часы наштамповать?

Бынин все про ведра поет, а я сижу и переживаю. Что делать? Если у таких маленьких часов волосок запутан, хоть сто лет распутывай — ничего не получится.

Часы клиентка принесла, когда Бынина в мастерской не было. Модная такая, заглянула в приемное окошечко и спрашивает:

— Где мастер?

— Я мастер, что вы хотели? — отвечаю.

— Скажите, пожалуйста, такой молоденький и уже мастер,, что из тебя дальше будет? — И пошла стрекотать, как сорока. Ах да ох, такие у нее хорошие часики были, так точно шли, и вдруг в них головочка стала проворачиваться, крутится и крутится без конца. Ну, мне сразу ясно, что пружина у нее в часах лопнула. Часы у нее — «гробик», мне за такие братья все равно, что слону садиться на детский стульчик. Но ремонт-то не сложный, пружину вставить в любые часы не трудно, даже в такие маленькие.

Я женщине говорю:

— У вас тут нитбанк не пружинит и цапфенфайер не работает.

Она опять ахать начала и все спрашивает, сколько будет стоить. А меня смех разбирает: нитбанк — это наковальня маленькая, а цапфенфайер — нечто вроде бархатного напильничка для полировки осей. Она опять спрашивает:

— Так сколько стоит этот... как его... цапен арйер?

— Шестьдесят три рубля, семьдесят копеек!

У мастеров есть обычая никогда не называть заказчику круглую сумму, обязательно с копейками, так убедительнее звучит.

Я ей велел через два дня прийти, хотя пружину можно вставить за пять минут. Ушла она, я барабан из часов вынул, пружину новую вставил, а когда барабан обратно вставлял, сам не знаю как, нечаянно за волосок задел, погнул его. Вот теперь выправляю, но чем больше с ним возжусь, тем больше он запутывается.

Бынин починает точно такой же «гробик», как у меня. Пел-пел, соскочил со стула, за ширму побежал. Что он там делает? Заглядываю украдкой: Бынин наливает из бутылки синеватую жидкость:

— Во славу русского оружия!

Выдыхает из себя воздух и выпивает одним духом. На бутылке странная этикетка: череп и две перекрещенные кости. Не выдерживаю, спрашиваю:

— Дядя Вася, что эта этикетка означает?

— Смерть всем врагам! — отвечает Бынин. — А ты чего шпионишь?

— Я не шпионю, я так... — возвращаюсь к верстаку. Бынин грызет луковицу. Задумывается. Опять скрывается за ширмой. Смотрю на часы: сейчас придет клиентка. Будет скандал. На верстаке у Бынина механизм «гробика» тикает, поблескивая круглым лучиком вращающегося баланса. Что, «ели заменить? Попросить, объяснить? Ах, да поздно сейчас объясняться! Возьму без спроса. Бынин станет когда-нибудь старым, будет плохо видеть — у часовщиков зрение рано выходит из строя, особенно быстро слабеет правый глаз, в котором лупу держат, — вот станет Бынин старым, а я к тому времени выучусь, возьму и почию за него часы, да не один раз!

Беру с бынинского верстака тикающий механизм, на его место кладу сломанный. Быстро вставляю работающий механизм в корпус, тут и женщина входит. Выскакиваю из-за нашей перегородки ей навстречу:

— Вот, получите!

Она прикладывает часы к уху:

— Идут! И надолго?

— Гарантия — пятьдесят лет!

— Кто бы мог подумать — такой молодой и уже такой мастер!

— Всего хорошего! Заходите!

Уходит. Бынин за ширмой позвякивает тарелками, обедает, видно. Вот вышел. Карабкается на свой стул. Вставил лупу.

— Помню... все помню, как пил спиртуаль, не помню, как погнул спираль...— бормочет он.— Нет, Бынина одной бутылкой не свалишь; р-работать буду, во-во! Выправил!

А я чувствую себя, словно лягушку проглотил. Сознаться? стыдно! Он ничего не заметил. Пусть! Ему это ничего не стоит — волосок выправить. Эх, замазал женщине очки! Она меня за человека приняла, за мастера. Как бы мне скорее научиться, чтобы не казаться человеком, а на самом деле им быть?! Сказать легко, а сделать...

Бынин соскакивает с табурета и, заложив руки за спину, нервно прохаживается по мастерской:

— Они что думают? Я в-военному говорю — на фронт добровольно. А он мне — вы инвалид! Э-то я — инвалид?! Я в стрелковом тире заведующего нищим сделал, все призы забрал!.. Горбы мои военному не нравятся. Нельзя таких в армию... А я — любовик. Я ему дверь в кабинете лбом вышиб, пусть починяет... Я инвалид? С-смотри! Засе-секай время! За все три фазы берусь!

Бынин подбегает к большому трехфазному рубильнику. Этого еще не хватало! Убьет ведь его!

Соскакиваю со стула, прошу:

— Дядя Вася! Не надо! Я верю, что ты не инвалид! Я помню, как ты в горсаду лбом доски ломал.

— Ты веришь, военком не верит. Время зас-сек?

Бынин держится за рубильник, рука у него дрожит, на скулах играют желваки.

Как его оторвать? Прикасаюсь к нему нельзя — последнего ударит еще сильнее, это я знаю. Что же делать? Со страха я совсем забываю, что можно вывернуть пробки. Бегу за переборку, где у нас теперь работает фотограф Пшечковский, древний старец, у которого всегда слезятся глаза.

Пшечковский, кряхтя, вылезает из своей темной лаборатории, заглядывает к нам:

— Э-э, уважаемый Василий Андреевич! Дурной пример вы показываете молодому поколению... Мы, мастера, должны быть сдержаннее, должны беречь себя, потому что наше мастерство нужно людям.

Пшечковский работал фотографом, когда не только меня, но и моего отца на свете не было. У него есть альбом, где хранятся фотографии всех знаменитостей, которые когда-либо приезжали в наш город, там и борцы, и артисты. Пшечковский заснял все крупные наводнения и пожары, губернаторов и купцов, и революционные демонстрации. Заснял он даже одного человека, который выбросился из окна четвертого этажа. Пшечковский сумел его сфотографировать, когда тот еще в воздухе летел и орал на всю улицу.

Но Бынин ему кричит:

— Умолкни! Мастерство! Разбей свой ящик, которым ты делаешь людские тени!

Бынин отпускает рубильник и трясущейся рукой извлекает из кармана фотокарточку, на которой я узнаю отца, Леню Зубаркина, Исаю Богохвалова.

— Вот! Вот твоя р-работа! Можешь ты мне воскресить Лешку? А? Мы с ним ходили, мечтали, пиво пили, он нам кино крутил. А теперь что? Тень? Мастерство!.. Чего изволите?

Прейскурант, план... А там такие люди гибнут! А я тут с тобой, старым чертом, и с младенцами разными должен сидеть!

Бынин вдруг заливается горькими слезами, горбы его часто вздрагивают, вздрагивают плечи, которые у него, по-моему, выше головы.

Пшечковский берет его под руку, ведет за ширму, к кушетке :

— Ложись, Вася! Ложись, родной, отдохни немножко... Ты устал, тебе надо отдохнуть... Поспи, и все пройдет. Поспи, и пройдет...

— Внешность моя им не нравится. Нельзя мне на фронт из политических соображений! — хрипло говорит Бынин. — Д-дубы! Все дубы! Целая роща!

Фотограф уходит. Становится тихо, в этой тишине особенно громко стучат большие напольные часы, их оставил у нас какой-то клиент; которого внезапно призвали и отправили на фронт. Родных у него нет, и когда он вернется за своими часами, и вернется ли, неизвестно.

— Ты что, понял-нет, сидишь, мечтаешь в рабочее время? А? — раздается у меня за спиной голос Штаневича. Как он так тихо вошел, что я не заметил? — Мастер где?

Что ответить? Андрон все равно за ширму заглянет. Что бы такое придумать? Ничего в голову не приходит.

— Мастер заболел... нехорошо ему стало.

— Так, заболел, значит? — Андрон направляется за ширму. Вид у него строгий, а в руке большая кожаная кошелка. Я слышал, как мычит спросонья Бынин, он никакого начальства не боится и не хочет вставать. Вот начали вполголоса переговариваться:

— Пьешь, пьешь! Ты посмотри, что пью-то! — отвечает Бынин. — Там осталось немного, возьми, попробуй.

— Ты мне зубы не заговаривай, понял-нет. Гони, что положено!

— На, подавись! — восклицает Бынин. — И катись, не гуди, голова трещит.

— Тише ты! — шепчет Андрон. — Чего, понял, при пацане разоряешься? Ты, понял, не дискредитируй, он начальство уважать должен.

Андрон появляется из-за ширмы и с масляной улыбочкой подходит к моему верстаку:

— Так-с! Осваиваем профессию? Твой папаша, молодой человек, был королем часов! Я думаю, понял, что ты весь в отца. Многому уже научился?

Мне хочется доказать этому Андрону, я гордо говорю:

— Крупные делаю с закрытыми глазами, за мелочь вплотную берусь.

— Я так и думал, — весело говорит Штаневич и достает из кошелки немецкий будильник марки «Юнгэнс». — Вот почини, пожалуйста, только побыстрее и получше, сестра моей жены все время на работу опаздывает...

О, черт! Зачем я похвастался! Бесплатная работа. Провозишься с этим будильником дня три, да и делать надо хорошо. Начальство.

Но, оказывается, это еще не все. Андрон извлекает из кошелки будильник поменьше:

— А это племянничку сделай. Студент он, им, студентам, без точного времени никак нельзя.

— Да тут же половины колес нет! — удивляюсь я, вскрыв крышку.

— Ничего, понял, найдешь, достанешь! У тебя от бати фурнитура осталась.

— Ничего не осталось, нас обчистили.

— Ты, понял, с начальством не пререкайся! — повышает голос Андрон. — Сказано тебе, ты делай. Вот тебе еще пара старых ходиков. Наладь, приведи в божеский вид, чтобы, понял, как новые... Это... моей бабушке и тетке...

Хлопает наружная дверь. Андрон важно шествует мимо окна со своей проклятой кошелкой. Мне хочется бросить его будильники на пол и топтать, топтать... Я захожу за ширму.

— Дядя Вася! Зачем вы ему деньги даете? Давайте не будем никогда без квитанций левые заказы брать и ему ничего не дадим, чтоб он подавился, гад лысый. На собрании выступим!

— Ха! — отвечает с раскладушки Бынин. — Разоблачим! Если бы не пил я. Да и то... Начальник! Чтоб ему пельменем подавиться!

— Так неужели же товарищ Елькин тоже так делал?

— То Елькин! Товарищ Елькин — небо, Штаневич — земля. Да какая там земля, назвать его землей — для нее оскорбление, болото вонючее, вот он что!

— Так зачем его председателем сделали? Почему не снимут? Вы бы заявили, что он — болото!

— Временно его назначили, некому больше, одни старики да подростки в артели действуют или инвалиды. А он, хоть справки о болезни имеет, но здоровый бычок. А свалить его сейчас трудно. Хитер он, Штаневич-то! Наши слова к делу не пришьешь. А я вот — пью. Руки скоро трястись будут, в сторожа пойду.

— А вы бы не пили. Раньше ж вы ничего были, нормальный...

— Не пил бы, душа, брат, горит! Они думают, если у меня грудь горбом, так под ней сердца нет? Есть. Большое, как у слона. Вот оно и давит. А выпьешь — и нет его, перестает...

11. ТАКАЯ У НЕЕ РАБОТА...

Мы с Витькой Кротенко решили в выходной побывать в детдоме за Томью, навестить мою мать. Витька теперь трудится в мастерской, где починяют охотничьи ружья. Он говорит, что скоро овладеет мастерством и тогда потихоньку изготовит себе револьвер, с которым уедет на фронт. Это все блажь, конечно. Пока он этот револьвер делает, наши фашистов разобьют.

В детдоме я бываю чуть не каждый выходной. Директора детдома отправили на фронт, а мать назначили на его место. Наверное, заметили, что она трудолюбивая и почти всегда может найти выход из трудного положения. Изобретательность в наше время — все. Мы научились мыться вместо мыла синей глиной, которую можно найти на берегу Томи, вместо спичек пользуемся огнивом, это ведь ничего не стоит, был бы обломочек напильника да кремень. Да мало ли чему мы научились?!

Вот мать теперь изворачивается, старается, чтобы детям-сиротам лучше жилось. Поэтому дома бывает очень мало. Детдом разместили в одной из дач, которую до войны построил муж Банковской. Дача красивая, вся в финтифлюшках, но рассчитана лишь на летнее время. Дров не было, не хватало матрацев, кроватей. По соседству полуразрушенная дача была, так мать с детдомовцами ее сломала, частью досок они обшили свое здание, сделали внушительную завалину. Из других досок топчаны сколотили. Из штор мать пошила матрасовки, набила соломой. Договорилась с соседним колхозом выкопать на поле картошку, за это взяла дровами и продуктами. Потом мать выпросила в одной водолечебнице огромную дырявую ванну, отремонтировала ее, встроила в плиту бак для нагрева воды, стала каждую субботу устраивать ребятам баню. В ванне все их белье перестирала, воды нагреет и заставляет всех мыться добела.

Едва прошла зима, мать стала присматривать около дачи землю для подсобного хозяйства. Ребята помогли колхозу очистить овощехранилище и за это получили немного картошки, моркови и свеклы на семена. Мать говорит, что сейчас самое трудное время. К осени у детдомовцев будут свои овощи, тогда она вздохнет спокойно.

На всех ребят формы не хватает, некоторые ходят пока, кто в чем. Но мать всем велела пришить на куртки и рубахи эмблему детдома — вырезанную из зеленой материи маленькую елочку. И ребята вдруг стали похожими друг на друга, словно на них на всех одинаковая форма. Очень красиво эта эмблема выглядит. Кроме того, мать принесла в детдом старый, выдавший виды пионерский горн, отчистила его мелом, сначала сама научилась в него трубить, а потом научила одного хулиганистого паренька. Он гордится, что ему горн доверили, и почти не хулиганит. Теперь по его сигналам проходит вся детдомовская жизнь: протрубит он — все поднимаются, еще протрубит — идут завтракать. Дисциплина стала строже.

Мы идем с Витькой через весь город к Томи. На заборах висят плакаты. В упор на нас смотрит огненным глазом боец в каске. Его огромный палец указывает прямо на нас. «Что ты сделал для фронта?!» — спрашивает боец. Мало мы с Витькой сделали для фронта. Только учимся работать. Ничего хорошего про себя этому бойцу я пока сказать не могу. Вот и хочу я что-то сделать, а ничего не получается. Если бы я знал, что война будет, так у отца научился бы по-серьезному работать, а не просто так.

Где же наш отец? Многие наши знакомые приехали с фронта раненые. Мы с матерью расспрашивали их: не видели ли они где-нибудь отца? Но никто не видел, служили в других частях. Я иногда думаю: что если и отца ранят? Страшно об этом думать. Особенно страшно, что ему могут руки покалечить. Он ведь такой мастер! О том, что отец может погибнуть, я даже и думать не хочу. Разве может такой человек погибнуть? Никак нельзя! Не должен!

Мы с Витькой идем к Томи мимо черных развалин цирка. Он сгорел в первое военное лето. В нем построили кинобудку, показывали кинофильмы. А киномеханики — молодые ребята, почти пацаны. Один из них уронил окурок в ящик с обрывками кинолент. Вот и полыхнуло! Жаль очень. Да сейчас, наверное, и Поддубный, и все другие борцы, и все цирковые артисты тоже на фронте.

Вот и базар. Там толчея, мечутся все, как чайники в блюде. Мужичонка в калошах на босу ногу продает часы, я сразу вижу, что они — «липовые», он все время на головку нажимает, чтобы они не стали.

— Швейцарские! Хренометр! — выкрикивает мужичонка.

Чумазый человек сидит прямо на земле, около пылающего примуса, нагревает на пламени блестящую металлическую палочку, водит ею по дну дырявой кастрюли, потом наливает туда воду, и кастрюля не протекает больше.

— Палочка-чудо! Оживет посуда! — покрикивает изобретатель. Находятся слабоумные, покупающие эти палочки. Я-то сразу понял, что поставишь залатанную кастрюлю на огонь — латки в момент расплавятся. Но всем этого не объяснишь, да и от «изобретателя» по шее получить можно.

И вдруг — крик, бегущая куда-то толпа увлекает и нас с Витькой. Мы невольно устремляемся за другими. Впереди бежит толстая тетка и вопит дурным голосом:

— Держи вора!

Чуть впереди тетки, увертываясь от ее не по-женски сильных рук, вихляется парнишка. Вот обернулся, сверкнул острыми зубами:

— Тетка! Над-дай! Шире шаг!

Вот черт! Не боится, а еще издевается! В руках у парнишки огромная свекла, ее-то он, видимо, и спер у базарной тетки. Но ведь его же сейчас догонят. Да» и бежать ему уже некуда — впереди Ушайка. Парнишка еще раз оглядывается на тетку, на толпу и бросается в воду. Он отчаянно машет руками, летят брызги, а свекла каким-то чудом у него на груди сама держится. Это мы с Витькой отчетливо видим.

Тетка добежала до воды, начала разуваться, но поняла, что вброд реку не перейдешь — глубоко. Она тяжело дышала, смотрела на реку выпученными глазами и повторяла:

— Чтоб тебя! Чтоб тебя!

Мы с Витькой свернули с базара к Томи, к перевозу. Здесь сейчас тихо и пустынно, никто не торопится за город на отдых. Взрослые теперь и по выходным работают — отдыхать некогда. Видно, что лодка на той стороне — лодочник пассажиров ожидает. Мы садимся возле тальников, в холодок. И вдруг из тальников вылезает давешний парнишка. Свекла все еще висит у него на груди.

— Это что за фокус? — удивляется Витька.

Парнишка, весь мокрый и грязный, широко улыбается:

— Изобретение!

Он показывает нам висящие на груди два гвоздя на шнурочках. Удобно: свеклу на гвозди наколол, а руки свободны.

— Как тебя зовут? — спрашиваю я.

— Копченый! — говорит он и протягивает маленькую ладошку.

— Где ж ты живешь?

— А-а! — машет парнишка рукой. — Зимой в кочегарке ночевал при Крестьянской бане. Там кочегар пьяница, но добрый. Пока, говорит, моя смена — блаженствуй! Во! Так прямо и

говорит: бла-жен-ство-вай! — Парнишка хлюпает носом. Вытягивает из лохмотьев маленький перочинник и разделяет свеклу на три части:

— Ховайте!

— А сейчас где спишь? — допытываюсь я. Мне жалко парнишку. Если его отмыть, получился бы очень симпатичный паренек. А на базаре промышлять не дело. Сегодня не поймали — завтра поймают. Хорошо, если в милицию сдадут, а то и бока намять могут.

— Счас я сплю здесь! — кивает он на кусты. — Ниче, до зимы еще далеко.

— А где родители?

— Ешелон разбомбили. Потерялся я. Побирался по поездам. А счас вот воровать научился. Ниче, жить можно!

— В детдом не хочешь? — спрашиваю я. — Мы как раз туда едем, у меня там мать — директором, устрою по знакомству.

— Не-а! — говорит парнишка. — Я вольная птица.

— А мы кто же, по-твоему?

— Домашние крысы...

Витька возмущенно приподнимается:

— За крысу можно и в ухо дать! Я беру парнишку за руку:

— Вон лодка идет, поедem с нами за компанию? Просто так, посмотреть? А?

— Просто так можно, — соглашается Копченый.

Мы садимся в лодку. Отъезжаем, оглядываемся на город. Дома, дворцы на высоком обрыве кажутся не то скалами, не то старой крепостной стеной. Мы привыкли видеть их фасады, лицо то есть, а теперь они к нам спинами повернуты, а ведь со спины и человека не всегда узнаешь. Фасады, что глядят на проспект, строители разными колоннами украсили, а повернутые к реке спины дворцов совершенно одинаковые, голые и глухие. Попробуй узнай по ним, где там — Технологический, где ДК, где что. Только польский костел да Петропавловскую церковь узнать можно. Да вон каланча торчит на одном уровне с церковными крестами, ее тоже ни с чем не спутаешь.

Переехали. Идем заливным лугом. Парнишка все спотыкается. До городка еще далеко.

— Слушай, как тебя по-настоящему зовут, ну, без клички? — спрашиваю я.

— По-настоящему — Петя... Воронов я, Петр. -

— Так ты, Петр, устал вроде.

— Не устал. Ниче. Не высыпаюсь в кустах-то. То комары, то ветер, а утром милиция шарится. Сам спишь, а одним глазом зыришь.

— Н-да, невеселая твоя жизнь...

Мы поднимаемся по тропинке на крутой бугор. Вон и дача видна в сосняке. Сейчас, летом, вокруг нее так много цветов, такая трава густая. Воздух здесь чистый и вообще как-то чисто кажется, потому что под ногами мхи да трава, не то что в городе.

Петя удивленно озирается вокруг. Он вдруг заметил бюст Дюма-отца. Мать перевезла его сюда, чего ж добру пропадать?

— Это кто? — указывает на бюст Петя Воронов.

— Дюма-отец, — говорю я.

— Чей-чей? Твой отец? — переспрашивает Петя. — Похожий, если усы сбрить...

Мы с Витькой чуть не валимся от хохота. Петя обиженно отворачивается.

— Да не обижайся ты, чудак, — говорю я, — мы не виноваты, что у тебя смешно получилось. Это — скульптура, портрет знаменитого писателя. Понял?

Петя молча кивает. Мы проходим в детдом. Мать выходит усталая, с синими кругами под глазами. Увидев меня, оживляется. Спрашивает, что я ел сегодня, нет ли телеграмм или писем. Потом обращает внимание и на Петю:

— А это что за товарищ?

— Этот товарищ на базаре свеклу с риском для жизни добывает! — говорю я. — А ночует в кустах, а там дует и комары кусаются.

Мать берет Петю за руку и всех нас приглашает в кухню. Нам дают три порции детдомовского овсяного супа. Жаднее всех ест Петя. Видать, с начала войны горячего не ел.

— Это хорошо, что вы его привели, — говорит мать, — пропал бы парнишка, а у нас ему будет хорошо...

— Я, может, не схочу у вас! — вскакивает строптивый Воронов.

— Я вот тебя помою, чистое белье дам, с ребятами познакомишься, поживешь несколько деньков, а там и решишь — где тебе лучше, — говорит мать, а глаза у нее делаются веселые и лукавые, как бывало иногда до войны. — Ты, Петя Воронов, у нас теперь вроде почетного гостя...

Петя смотрит на детдомовцев, и заметно, что ему нравятся их яркие эмблемы-елочки. А в окне — тоже деревья, целые полки елей, пихт и сосен. На дворе ребята сколачивают рамы для парников, вяжут метлы, вбивают в деревянные-бруски длинные ржавые гвозди, и у них получаются самодельные грабли. Всему этому их учит мать. На детдомовском огороде скоро поспеют огурцы, другие овощи, есть уже редиска. Но главное — дожждаться картошки.

Петя остается в детдоме. Мать выходит проводить нас. Задерживает меня за руку:

— Ну, как, мастер-ломастер, устаешь? — Пытается шутить, а глаза грустные.

— С чего уставать-то? — успокаиваю я ее. — Не кувалдой стучу, можно при крахмальных манжетах работать... — Я вспомнил, как некоторые часовщики перед другими мастеровыми иногда хвалятся.

— Н-да... в манжетах... — мать поглядела на обтрепавшиеся рукава моей телогрейки. — Ты извини, что я тебе из парника огурцов не сорвала. Это ж их — детдомовские, своими руками сажали, выращивали. И тебе трудно, да ты все же не сирота. Эх, свой-то огород засадить нынче было некогда... вот работенка досталась!..

Огурцов мне очень хочется, но я говорю матери, что о них и не думал даже. Мать права: детдомовцы. Вот, может, Петя Воронов съест завтра из парника первый в этом году огурчик, весь в зеленых пупырышках, аппетитный такой... Съест он его и раздумает уходить из детдома. К будет здесь жить. Живой будет, здоровый, об этом мать позаботится. Она уж такая. Если берется за какое-то дело, то делает его хорошо, чего бы ей это ни стоило.

Мать стоит на обрыве и долго машет нам рукой. Мы уж в лодку сели, а она все стоит. Я знаю: Пете у нее будет хорошо, но сегодня за ужином она ему не даст чаю. Она всегда так новичков проверяет. Когда дети с улицы попадают, многие из них больны. Дашь такому гражданину чаю на ночь, а он во сне опрудит всю постель. Дело не в этом. Можно постирать, но ведь у детдомовцев языки и глаза острые. Всего один раз он, может, и напрудит, а его потом долго будут каким-нибудь обидным прозвищем звать.

В ограде я встречаю соседа Прасковьева.

— А я к тебе собрался, хорошо, что ты пришел, — говорит Фадей Зиновьевич, — надо проверить военное положение...

На стене возле моей кровати висит пожелтевшая географическая карта. Ее выпустили до освобождения Западной Украины и образования прибалтийских социалистических республик. Когда-то мы с отцом подрисовали красным карандашом новую границу. Теперь я каждый день отмечаю флажками линию фронта. Надел на иголки красные тряпочки — вот и флажки.

Прасковьев проходит в комнату, пристально смотрит слезящимися глазами на флажки, которые находятся далеко и от старой и от новой границы. Он достает платок, долго кашляет:

— Эх-хе! Ты чего это флажки вперед не двигаешь? Зря, чо ли, на их свой пионерский галстук извел?

Эх, Фадей Зиновьевич! Если бы движение этих флажков зависело от меня. Я сразу бы воткнул один из флажков вон в ту коричневую точку с надписью: «Берлин». Но до этого еще далеко.

Скучно, тоскливо Прасковьеву. Вот и пришел ко мне, хотя, конечно, знает, что перемен к лучшему на фронте пока нет. Кондитерская фабрика почти не работает, не идет больше из трубы дым, пахнувший медом. Пряники и конфеты теперь не выпускают, только иногда давят жмых. А если бы и выпускали, то Прасковьеву в цехе работать бы не пришлось. Заболели и он, и Касьяновна чахоткой. Как война, так и все болезни на людей наваливаются! Касьяновна лежит, совсем не встает, хотя Верка бывает в госпитале на практике и приносит оттуда какие-то особенные лекарства, чтобы вылечить ее.

Верку я теперь вижу очень редко. Пробежит она в своей аккуратной защитной форме, в косыночке с красным крестом мимо нашего окна и все. И ей некогда, и мне. Заметил я только, что она похудела и вытянулась в длину.

Прасковьев сидит, вздыхает, кашляет. Я ему рассказываю про сегодняшний случай на базаре, про Петю Воронова.

— Нам, старикам, помирать, так вроде так и надо. А вот детишки-то, детишки-то за что мучаются? — сипло говорит Прасковьев и смахивает с ресницы слезу.

Ну, чего он, как маленький! Мне как-то неловко смотреть на взрослого плачущего человека. Я говорю:

— Ну, те, которые в детский дом попали, не пропадут, за ними моя мать смотрит. Вы же знаете, какая она?

— Да,— соглашается Фадей Зиновьевич,— Матрена Ивановна — женщина сурьезная. То ись — хозяйка и с карахтером, у такой — надежно... Ах, как батеньку твоего жаль! Какая семья была! Все исправные такие, веселые. А как жили, как жили! И все прахом, прахом! — У него на глаза опять слезы навертываются.

Ну, чего он раньше времени нашу семью отпевает? Чего разнылся? Мужчина все же. Был лучшим пряничным мастером!

— Зачем вы так про отца говорите, будто помер он?! Зачем?! — кричу я.

Прасковьев смущенно встает со стула:

— А рази я это сказал? Просто жалко нашей прежней мирной жизни. Как жили, как жили! И вот на тебе...

Он уходит. Окна открыты, жара. Из сада пахнет черемухой. Я гляжу в окно на нашу Ямскую. Вон бабка Федоренчиха ковыляет, несет под мышкой бересту, в лесу надрала, туесок, видно, делать будет. Она это умеет. А вон и Садыс появился. Он ведет домой пьяного Дюбиного отца. Шарит у того в кармане:

— Михалыч, я закурю у тебя?

Дюбин отец матерится. Юрка выволакивает у него из кармана пачку махорки и перекладывает в свой. Дюбин отец ничего не замечает, грозит кому-то кулаком. Он теперь живет один. Дюба исчез после того, как ему принесли повестку из военкомата. Отец его заявил, что Дюба в Ушайке утонул, обласок, дескать, перевернулся. Когда и как Дюба тонул — никто не видел. Правда, исчез и обласок, который зимой и летом находился неподалеку от Дюбиной избы. Но я что-то в Дюбину гибель не верю. И никто у нас не верит.

Недавно тетя Агания торговала у нас шифоньер.

— Вам-то теперь в него вешать нечего,— сказала она,— чего ж ему зря стоять? Юрка у меня вон как вымахал, жених... Кустом ему будем править...

Тоже жених нашелся! Курить начал, сапоги гармошкой носит, как Дюба всегда носил. И наколку на руке сделал: телефонный аппарат и две кривых стрелки-молнии. А глаза еще больше стали и голубее. Да я-то знаю — что там, за этими глазами.

12. ОБЫКНОВЕННЫЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Я стал привыкать к работе в мастерской. Если выдаю клиенту часы, обязательно поясняю, что пружина рассчитана на тридцать шесть часов хода, но заводить ее надо раз в сутки и желательно — ранним утром. Крутить головку нужно плавно и в обе стороны. Напоминаю я клиенту, что часы нельзя класть на стекло, мрамор, поблизости от приемника или радио, потому что в радиоприборах есть магниты и часы могут намагнититься. Нельзя долго держать часы под ярким солнцем циферблатом вверх.

Некоторые клиенты начинают расспрашивать — почему нельзя, я им объясняю. Язык не отвалится, а клиенту приятно, что о его часах так заботятся, он начинает понимать, что мы не заинтересованы в том, чтобы его часы быстро сломались, хотя вообще-то вполне могло быть наоборот. Он уйдет, этот клиент, и обязательно расскажет своим знакомым, что вот-де в такой-то мастерской работают добросовестные люди. Все это хорошо. Только не получаются у меня сложные ремонты. Вчера опять утерял деталь: палету от вилочки. Это такой плоский камушек-башмачок, гладкий, блестящий, но увидеть его хорошо можно лишь в лупу. Его надо не только в вилочку вставить, но и тщательно отрегулировать, потому что именно этот башмачок ходит по анкерному колесу, позволяет ему медленно вращаться. Налеты настолько малы, что в наперстке их помещается около двух тысяч, — часовщики это давно вычислили. И вот, хотя я уже научился править концы корнцангов, палета все же у меня выскочила, и найти я ее не сумел. Два дня искал, и все напрасно. А во всем Томске не найдешь запасной палеты.

И тут как раз Штаневич явился и велел мне готовиться к выступлению в госпитале. А я сроду в пьесах не играл, случалось в школе только стихи читать в концертах художественной самодеятельности. Стихи — проще. Выучил как следует, вышел на сцену, зажмурился и читай. Лишь бы не сбиться, рифму не забыть.

Я стал отнекиваться, пояснил Штаневичу, что у меня нет способностей. Тогда Штаневич сказал целую речь. Он сказал, что у раненых бойцов от хорошего настроения раны заживают быстрее и что поднять настроение могут и члены нашей артели «Вперед».

— Я, понял, для себя, что ли, стараюсь? — заключил свою речь Андрон. — И способности у тебя должны быть, — твой дядя ведь был великий артист. — Последние слова Андрон сказал вроде с подвохом, но мне понравилось, что он похвалил дядю.

Мы решили выступать с Витькой Кротенко, пропадать — так вместе. Несколько дней за работой в мастерской я бубнил слова своей роли. Слов там не очень много, но все же я понимал, что первое дело — выучить всю роль назубок, а уж на репетиции жесты и мимику мы отработаем.

В сценке фашистский учитель экзаменует юного Фрица. Там есть такие слова:

Вопрошает жрец науки:

— Для чего фашисту руки?

А Фриц отвечает:

— Чтоб держать топор и меч, Чтобы грабить, резать, жечь!

Мы с Витькой сначала из-за ролей рассорились: никто из нас не хотел быть юным Фрицем. Тогда Штаневич сказал, что и в настоящих театрах у артистов бывает спор из-за распределения ролей, что нередко случаются целые драмы из-за этого, но, в конце концов, всегда бывает так, как скажет режиссер, потому что ему виднее. Потом Штаневич внимательно нас с Витькой осмотрел и решил, что я больше подхожу для роли юного Фрица.

Стали репетировать. В мастерской я отыскал подходящее стекло и воткнул в глаз вместо монокла. Вид у меня сразу стал наглый, даже Витька это признал.

И наступил день концерта. С замиранием сердца поднимаемся мы вслед за Штаневичем по широкой лестнице, по которой когда-то ходили студенты университета, а теперь ходят раненые и врачи.

Проходим в огромную комнату. Здесь была аудитория, теперь она превращена в палату. Задняя часть комнаты отгорожена большой занавеской. Мы проходим туда. А там что творится! Бегают, суетятся: кто себе усы приклеивает, кто брови подводит, девчонки просят нас

отвернуться, надевают длинные старинные сарафаны — хоровод водить. Длинноволосый седой дядя в галстук-бабочке, с накрашенными помадой губами, хватается за голову и все повторяет:
— Нет, я решительно отказываюсь читать, тут ведь никакого резонанса!

Но вот занавеску открывают, все мы прячемся в углу, а этот накрашенный в галстук-бабочке появляется на сцене. Он выходит такими бодрыми шагами, как будто энергии в нем, как в самом мощном паровозе. Ни за что не поверишь, что это он только сейчас за голову держался и страдал. Лицо у него торжественное, строгое. Под звуки баяна мужчина начинает читать что-то вроде стихотворения, но не совсем стихотворение, а как бы вперемешку с прозой. И читает он так, словно поет, а местами совсем на пение переходит:

Обыкновенный русский человек, Каких у нас повсюду миллионы, Обыкновенный русский человек, В свою страну по-рыцарски влюбленный!

Это у него вроде припева. Он рассказывает про обыкновенного русского человека, как этот человек революцию делал, как разные заводы и фабрики строил, а теперь бьется с фашистской гадиной. И говорит он стихами, что этот обыкновенный русский человек обязательно победит.

Сейчас, когда немцы к Сталинграду прут, на Кавказ, паникеры распускают разные слухи: кто говорит, что Москву совсем окружили, кто говорит, что война только тогда кончится, когда кровь по Волге до океана дойдет и он станет красным. А этот артист своим пением, стихами сразу заставил слушателей ему поверить. Все: и раненые, и сестры, и те, кто ждет своей очереди выступать, — все на этого артиста смотрят с восторгом, с благодарностью, словно он про них что-то такое рассказал, чего они сами раньше не знали. Я вижу, что даже Витька Кротенке, маленький и на вид жалкий, грудь выпячивает. Вот что означает — настоящий артист!

Раненые, у которых руки есть, ладоши себе отбивают, а у которых только одна рука, по тумбочкам хлопают, у кого рук нет, ногами топают, кто кричит «Браво!», кто — «Ура». А седой артист скромно кланяется, юркает в наш угол, помаду ладонью смазывает и кулаком себя по лбу:

— Позор! Какой позор! В шестом куплете сбился с такта, и чувства никакого! Никакого, понимаете? Олух! Бездарность? Не достал я их всех, понимаете, не достал!.. — А сам чуть не плачет. И я вижу, что он вполне серьезно, без всякого там притворства считает, что плохо выступил. А по сцене уже хоровод закружился. Девчонки танцуют.

Подходит Андрон:

— Я, понял, сейчас вас объявлять буду.

— Вы только слово «понял» не говорите! Ладно? — прошу я.

Андрон розовеет:

— Ты, по... понимаешь, не учи! Сам знаю, где как говорить надо...

Он снимает пушинку с купленного на толчке кителя, бодро выходит на авансцену, вытягивает руки по швам:

— Э-э-э... это... э-э-э... сценка, понял! «Экзамен». Так, понял, называется, значит... Представляют это... э-э-э, понял, сотрудники, понял-нет, артели, значит, «Вперед»... Николай Николаев, понял, и Виктор Кротенко! Ну, вот!..

Андрон вытирает ладонью вспотевшую лысину. Зачем лез? Мог бы кто-нибудь другой объявить.

Мы прижимаемся к стенке. Витька еще ничего: он за ведущего читать будет, в обычной одежде. А мне прикрепили на руку повязку со свастикой, противогазную сумку через плечо повесили, стекло — в глазу, да еще деревянный автомат немецкого образца в руке. Нас вытаскивают на середину сцены, и Витька начинает читать:

Юный Фриц, любимец мамин,
В класс пришел сдавать экзамен...

Я подхожу к нему ближе, стараюсь идти четким солдатским шагом, высоко поднимая ноги и печатаю шаг. Но я так взволнован, что не замечаю края сцены и вдруг ступаю в воздух и сваливаюсь к ногам зрителей, сидящих в первом ряду. У меня на лбу шишка вздувается, стыдно до невозможности, мне бы надо пройти к лесенке, которая на сцену ведет, а я стараюсь влезть обратно, недалеко от того места, где упал. Роста мне недостает, пытаюсь на руках подтянуться, а зал хохочет, надрывается. И еще автомат мешает. Витька подает мне руку, но у него силы не хватает, чтобы меня обратно втащить. Андрон из своего угла шепчет, а потом уже чуть не кричит:

— По лестнице поднимись! По лестнице!

Тут и раненые начинают подсказывать:

— Эй! Фриц! Ослеп, что ли? Вон она, лестница! Ферштейн?

Я поднимаюсь по лестнице и бегу со сцены в угол. А и» зала кричат:

— Давай юного Фрица! Повторить!

Меня опять выталкивают, и на этот раз мы кое-как доводим с Витькой всю сцену до конца. Нам хлопают, конечно, не так, как тому артисту, но все же. Из вежливости, наверное. И смеялись немного в смешных местах, но это, видно, тоже из вежливости. А по-настоящему они хохотали, когда я с этой сцены слетел без парашюта. Как бы там ни было, но мы свой номер провели. Теперь можно в зал выйти и посмотреть, как другие выступать будут.

Мы с Витькой пристраиваемся возле кровати, которая стоит около первого ряда. На ней лежит раненый, нога у него вверх задрана, вся в белом гипсе, подвязана ремнем к спинке кровати. Однако он не унывает и спрашивает стоящую рядом девушку:

— С какого вы года?

— Так я вам и сказала.

— Нет, вы все-таки скажите, с какого вы года? Почему-то они все так спрашивают, когда познакомиться хотят. Какое это имеет значение — с какого она года? Девушка говорит:

— Ну, с двадцать шестого, а что? — и голос у нее знакомый. Я оборачиваюсь — Верка Прасковьева. Спрашиваю:

— Медички не выступают, так чего ты, Верка, сюда пришла?

— А мы,— говорит,— шефы, мы им платочки принесли и пять мешков сфагнового моха. Целую неделю за рекой по болотам лазили, этот мох собирали.

— А на что он им нужен, что они его — жуют или, может, вместо махорки курят?

— Ничего ты не знаешь. Медики выяснили, что мох этот вполне вату заменяет, еще лучше в сто раз. Его если к ране привязать, он не только мягкий, но еще против воспалений действует. Так и сказала — «воспалениев». Эх, Верка! Чему только тебя в школе учили.

Пока мы с Веркой разговариваем, заканчивается последний номер на сцене. И вдруг за занавесом поднимается какой-то шум. На сцене показывается чумазый, оборванный цыганенок, моих примерно лет или моложе, кричит:

— А д-дайте я им цыганочку сбацаю! Главный артист в его рубашку вцепился:

— Куда? Программой не предусмотрено!

— Побойся ты бога! Какая телеграмма? Не беспокойся, 3-золотце, я им так дам — довольны будут!

— Пусть даст!

Баянист выходит, садится на табурет, цыганский мотив наигрывает. А чумазый как подскочит, ладоши у него хлопают, каблуки стоптанных сапог трещат, да все в лад музыке, л так дробно, так ловко, что просто непонятно, когда он успел так натренироваться?

— Как по воздуху летает! — вздыхают в зале.

А цыганенок все больше и больше расходится. Кажется, чзн уже должен свалиться от усталости, а он темп все ускоряет, уже и баянист не успевает за ним, играет без вариаций, только одни и те же аккорды через такт рвет. Вдруг цыганенок подскакивает к баянисту, выхватывает из-под него табуретку, тот чуть не падает, а цыганенок все той же чечеткой

приближается к краю сцены, табуретку на край ставит на одну ножку, остальные три в воздухе висят. И тут цыганенок на эту стоящую на одной ножке табуретку вскакивает и еще на ней заключительную дробь отбивает. В зале не то что аплодисменты — рев сплошной. Действительно, дал цыганенок, не зря обещал! А он достает из-за пазухи большой залатанный мешок и говорит:

— Гр-раждане ранетые! У кого какая кор-рочка заваялась — для моей семьи в маленькую сумочку! — и шагает между кроватей.

— Большая у тебя семья-то? — спрашивают его.

— А маленькая: десять нас цыганят, да старики, всего двадцать люд-дей, почитай весь табор!.. Пусть мне хлеб не все дают, а которые в живот ранетые,..

Цыганенку в мешок суют куски сахара, хлеба. Витька говорит мне на языке, который мы для себя изобрели:

— Хо-пло отч ым ен гане-цы!

В переводе это означает: «Плохо, что мы не цыгане!» Мы на этом языке говорим, когда хотим, чтобы нас никто не понял. У длинных слов мы слоги переставляем, а маленькие целиком наоборот произносим.

Я Витьку спрашиваю:

— А ыт кта сать-шш жешь-мо?

Витьке и крыть нечем. Но тут подошедший к нам Штане-вич предлагает:

— Идемте ко мне, я вас за ваш успех угощу...

Штаневич долго стучит ногой в свою калитку. Открывает его жена, тихая женщина, которая ходит в черной шали и ни с кем из соседей не разговаривает. Я часто вижу ее в окно, выходящее в сад. Она всегда что-нибудь пилит, подкапывает, подвязывает в саду.

Мы садимся за широкий крашенный стол, установленный в черемуховых зарослях. Штаневич подзывает жену и шепчет ей что-то в самое ухо, мы слышим только последнее слово — «понял». Жена кивает Андрону и приносит три чашки с чаем, подкрашенным свеклой, и банку варенья. Кислятина! Андрон, видно, собрал даже всю мелкую зеленую смородину, а положить в нее сахару побольше пожалел.

— М-м,— оттопыривает толстые губы Андрон,— кушайте, детки, не стесняйтесь.

Я оглядываюсь: мне кажется, что из кустов кто-то подглядывает, как мы пьем чай. Отвожу рукой ветку и вижу белое лицо, по которому сползают крупные слезинки.

— А? Понял? — самодовольно чмокает губами Андрон.— Художественная ценность. Спас от разрушения. Время такое — ничего, понял, не жалеют...

— Это ж ангелы, что над могилой главного миллионера плакали! — восклицаю я.

— Точно! —подтверждает Андрон.— Кладбище сносят,так чем добру пропадать, понял, пусть лучше, у меня в саду плачут...

Мне вспомнилось старинное кладбище. Могилы заросли деревьями, разными кустарниками. Продерешься сквозь ветви и видишь, что когда-то тут аллеи были, а над могилами, где разные знаменитости, купцы и губернаторы похоронены, чуть не целые дома понастроены, из розового, белого и черного камня. Над главнейшим священником склонились каменные ангелы, над одним из богачей — нагая женщина с распущенными до земли волосами. А над одной могилой лишь вкопанный в землю стоймя рельс, и на верху его — маленькая электролампочка горит. Макушин, который здесь похоронен, был купец особенный: книгами торговал, дешево продавал, иногда себе в убыток. Он выдвинул лозунг: «Ни одного неграмотного» — и пытался добиться этого, открыл первую в Сибири бесплатную библиотеку. Не удалось ему сделать всех томичей грамотными — не та тогда власть была, а один человек с таким делом не справится, как бы ни старался. Но все же он городу помог, и его лампочка, по завещанию, всегда горит на этой железной палке — день и ночь. Что же теперь с ней будет? Ведь кладбище сносят?

И еще мне вспомнился случай из детства. Раз я собирался неподалеку от дома из березы сока нацедить. Садыс увидел и сказал:

— Айда на старое кладбище, там березы — во! Руками не обхватишь.

Пришли и — правда, соку нацедить из таких берез — пара пустяков. Сделали желобки, подставили банки. Я Юрку спросил:

— Отчего они тут такие толстенные? Сорт особый?

Он смотрит, ухмыляется:

— У тебя не варит? Какое тут удобрение? Люди сгнили, вот и пожалуйста.

Меня тогда словно кто палкой по голове ударил: я в свои восемь лет впервые подумал о том, что когда-нибудь умру. Пусть не скоро, но обязательно умру! А Садыс нарочно банку с соком сует, на, мол, попей, чего ты? Я у него склянку вышиб и бежать. Чуть под лошадь не попал, извозчик меня кнутом легонько стегнул, я опомнился, домой пошел.

Ночью заснуть не мог, лежал и вдруг закричал:

— Я ведь умру... понимаете? Умру когда-нибудь! Смотрю, мать смеется:

— Только-то? Стоило кричать. Мы тоже умрем, так ведь не вопим и другим спать не мешаем. Лет через двадцать таблетки придумают для продления жизни. Ты ж молодой, чего тебе беспокоиться?

Мне легче стало, спросил:

— А вы как же?

— А мы зря себе нервы не портим, около Ушайки в ледоход не валандаемся, потому что там запросто можно утонуть. Так что, может, и мы доживем до таблеток, а ты уж — на-верняка...

...Витька моргает мне и говорит Штаневичу:

— Большое спасибо, Андрон Иванович, за чай. А мы пойдем — дела!

Выходим. Витька говорит:

— Везде этот чертов Андрон вперед поспекает. Мы ведь тоже могли бы себе принести оттуда статую, хоть небольшую, да поди уже все разобрали.

Мы бежим к Ушайке, переходим ее вброд, по улице Петровской до кладбища минут пятнадцать ходу.

— Трудно будет на руках тащить, — говорит Витька, — Штаневич-то на телеге привез. Начальник.

— Ничего, — говорю я, — там посмотрим...

А вон и кладбище. Так и есть — пришли мы к шапочному разбору. Заборы толстенные, каменные, разобраны, мраморные и гранитные павильоны снесены, а на кладбище ковыряются люди, много людей. Может, тысяча, а может, две. Чем ближе мы подходим, тем больше тает наша надежда. Мелькают носилки, лопаты, стучат кирки, кайлы. Тут и строители, и студенты, и не поймешь кто. Витька обращается к раздетому по пояс очкарику:

— Зачем же вы все разрушаете? Ведь тут какое прекрасное место было.

— Ну, тебе-то такое место еще долго не потребуется... Меня зло взяло:

— Напрасно вы насмешничаете. Тут люди лежат, что не в таких, как у вас, очках ходили, а, может, даже в золотой оправе. Где лампочка Макушина, которую зажгли по его завещанию? Он народ просвещал, и нехорошо так с ним обращаться!

Очкарик смотрит на меня внимательно, вынимает кисет, свертывает самокрутку, выпускает сизую струйку:

— Мне эта работа тоже не очень нравится, не все здесь шкуродеры и миллионеры лежат. Но что же делать, если срочно надо разместить большой эвакуированный завод, а место здесь самое подходящее: шоссе рядом, до железной дороги рукой подать. Война — время не терпит. А за Макушина не волнуйся: лампочку и рельс к зданию бывшей народной библиотеки перенесли. Пока она не горит, сам знаешь — живым электричества не хватает. Так что это как бы временный перерыв в вечном сиянии его славы. Уразумел?

Я успокаиваюсь. Выходит, теперь кладбище вроде как в стройбат мобилизовано. Но все же жаль. Тут ведь лежали и те, кто многое сделал для нас, теперешних, что-то построили или изобрели, ссыльные лежали, что за любовь к свободе были сосланы, умерли вдали от родного дома. Они жили, радовались, огорчались, может, про нас иногда думали, рассчитывали, что мы будем помнить их по именам. Конечно, мы всегда будем помнить, что обживал и строил наш город тот самый обыкновенный русский человек, о котором сегодня артист в госпитале рассказывал. И все же жаль. По именам-то было бы лучше...

13. СНОВА ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСЫ

Клиенты к нам приходят разные: веселые и разговорчивые, мрачные, недовольные, подозрительные, чудаковатые. За день их не один десяток зайдет в мастерскую. Инвалид с трофейными немецкими часами похвастает тем, что они у него — семнадцатикамневые, между прочим расскажет о том, как вырвался из окружения, каких хороших друзей потерял при этом. Научный работник, поправляя пенсне и покашливая, будет объяснять, что часы ему нужно отремонтировать срочно, сегодня же, сейчас, немедленно — он по ним читает лекции. Хоть умрите, а сделайте часы. Приходят старушки и приносят ходики, смазанные конопляным, льняным или веретенным маслом. Ходики, мол, стали отставать, она их смазала, часы сразу хорошо пошли, шли целую неделю, а потом стали. Обыкновенная история. Растительному маслу нужно как раз неделю, чтобы загустеть, засохнуть и превратиться в прочную, как затвердевший цемент, пленку, которая и сковала все оси, все зубцы в часах. Счищать эту пленку дело муторное и неблагодарное, сами ходики того не стоят.

Бывает, придет человек и просунет в окошечко руку, в которой — веревочка с нанизанными на нее, как баранки, часами. Думает нас удивить. Подмигнет:

— Половина вам, половина мне.

Мы-то знаем, что он имеет ввиду. Половину часов пустить на ход, отдать ему, остальное — нам за работу. Самоучка из отдаленного села. Научился лупу в глазу держать. Берет у односельчан сломанные часы и совсем доламывает. Постепенно у него этого хлама скапливается много. Вот он и везет в мастерскую. Камни в механизмах выкрошил, оси балансов и колес сломал, волоски согнул, винты и прочее растерял, теперь даже на запчасти ничего не выберешь.

Бынин у такого человека возьмет связку, подержит в руке и скажет:

— Отнесите в контору «Вторчермет», вы так хорошо потрудились, что теперь это годится только в переплавку...

А не так давно к нам пришел старик, лысый, остатки волос спереди изогнуты в завиток и, вроде, каким-то клеем приклеены. Он долго у окошечка переминался. Бынин спросил:

— Что вы хотели?

Старичок поправил свой завиток и ошарашил Бынина:

— Я хотел бы зайти внутрь мастерской...

Надо сказать, мастера не любят, когда посторонние в мастерскую лезут: работа мелкая, смахнет нечаянно рукавом на пол вилочку или ось, на два дня хлопот обеспечит.

— Посторонним строго воспрещается. Если есть заказ — обращайтесь через окошечко.

Старичок оглянулся по сторонам и шепнул Бынину:

— Хочу общаться лично, с глазу на глаз, есть импортная фурнитура!

Случается, что придет человек и говорит, что принес фурнитуру. Развернет бумажку, а у него там оси со сломанными концами, колеса без зубьев от неходовых часов, в общем, то, что нам ни при какой погоде не нужно. Поэтому Бынин, прежде чем снять с петли крючок, спросил:

— Что за фурнитура? Что вы имеете в виду под этим громким словом?

Пришелец шепнул, что имеет новые вилки к швейцарским «гробикам», волоски с готовыми брегетами, оси, еще кое-что назвал. Мы оба вскочили со своих табуретов. Откуда он

с таким богатством? С луны свалился, что ли? Мы перед ним двери быстренько распахнули, он вошел и давай головой крутить, верстаки разглядывать. Бынин забеспокоился: не наврал ли пришелец насчет волосков и вилочек.

— Ближе к делу.

Тот кивнул, достал из внутреннего кармана пиджака про-бирочку из-под таблеток, а в ней полно вилочек, осей, камней — все новенькое, так и сверкнуло на солнце. Бынин от волнения даже заикаться начал:

— И вв-волоски есть?

Старичок достал из кармана пакетик с волосками, штук сто! А у нас десятки часов, и швейцарских и других, без дела валяются. Волосок поставь, они затикают, тащи на толкучку — полторы тыщи в кармане. Да и клиентов обслуживать надо.

Старичок заломил за свою фурнитуру такую цену, что у Бынина заикание прошло. Начали они торговаться. Старичок улыбается, кивает, но цену не сбавляет, жалуется на риск, на транспортные расходы. Еле сговорились.

Он стал просить старичка продать еще что-нибудь из запчастей. Тот пообещал дать осей, если устроим его на квартиру : в гостиницах мест нет, в нашем городе он впервые — ни одного знакомого.

Бынину поместить старичка некуда: у него три эвакуированных актера живут. Он попросил, чтобы я отвел фурнитурщика к себе домой, у нас места много. Похвалил старичка: — Вы, как заправский часовщик, фурнитуру знаете. Может, раньше тоже мастерили, а потом переквалифицировались? Бывает, у нашего брата под старость зрение отказывает...

Старичок сказал, что польщен, но к такому тонкому делу, как часы, у него способностей нет, а что с фурнитурой знаком, так ради денег медведей танцевать учат. Он ездит от какого-то завода по командировкам, от какого именно — не имеет права сказать. Ездить нынче дорого, командировочных не хватает, а фурнитура много места не занимает и частично дорогу оправдывает.

Вечером я привел старичка домой. Оказалось, что его зовут Никодимом Никодимовичем. Он тут же открыл чемоданчик, достал белый мешочек и отсыпал из него два стакана сушеного урюка. Мать была довольнехонька: у нее в последнее время стало сердце побаливать. Знакомый доктор сказал, что надо больше витаминов есть. Очень хорошо фрукты, хотя бы сушеные, других-то теперь и не достанешь.

Так стал этот Никодим Никодимович у нас жить. Он тихий, его почти незаметно в доме. То что-то читает, то вроде считает. Сходит ненадолго куда-то и опять у печки сидит то с книжкой, то с тетрадкой.

А вчера пришла старушка, что когда-то привозила деревянные часы на дергуновской пролетке. Теперь она явилась пешком. У Дергуна кобыла давно околела, кормить ее было нечем, к тому же эта кобыла была, как и Дергун, очень старая. И вот пришла старушка в шляпке с вуалькой и спросила: — Где же мастер Николай Николаевич Николаев? Я хочу иметь дело только с ним. Бынин сказал ей, что мастер Николаев находится на фронте и бьет там фашистских гадов. Так что с ним она может иметь дело только после войны.

— Ах, я не могу ждать! — заявила старушка, — у меня часы бьют ненормально...

Тогда Бынин сказал, что есть еще один Николай Николаевич Николаев, и указал на меня. А мне неудобно, стыдно стало. Какой я Николай Николаевич? Механизм тогда у Бынина подменил. Мастера обманул. Пока я трем «Н» не соответствую. И если бы отцовские часы с «Марсельезой» не украли, то я был бы теперь недостоин их.

А Бынин моего смущения не заметил и сказал:

— Это сын того мастера. И если вы доверяли отцу, то можете смело довериться и сыну. Я думаю, он вполне достоин своего знаменитого отца...

Старушка потеряла вуальку:

— Дело в том, что я не могу доставить сюда часы. Времена такие, что извозчика не найдешь во всем городе. Я просто не знаю, как быть...

Я ее успокоил, сказал, что возьму доставку часов на себя.

— Это так мило, так благородно с вашей стороны...— сказала она и подала мне кусочек пожелтевшего картона, на котором золотыми печатными буквами было тиснуто:

Ариадна Амнеподистовна Эндельман-Козельская. Воскресенский взвоз. Собственный дом.

— А номер? — спросил я.

— Что? — удивилась старушка.— Ах, да, простите. Теперь все под номерами... да. Номер... какой же у нас номер? Кажется, шестой, да... Неподалеку от Воскресенской церкви... Такая архитектура, и теперь совершенно без присмотра... А ведь я в этой церкви венчалась с Максимилианом... Времена, времена...

В воскресенье мы с Витькой двинулись к ней за часами. Пришли. Дом старинный, купеческий. Но что нас больше всего удивило, так это звонок. К двери приделана бронзовая львиная голова, а чуть повыше — львиная, тоже бронзовая, лапа. Хочешь, чтобы тебе отворили, — стучи львиной лапой по голове, по львиной, конечно, и раздается мелодичный такой звон.

Звонить пришлось долго. Мы уж думали, что старушки дома нет, но она в конце концов открыла. И что бы вы думали? Губы накрашены, сама напудрена, и духами от нее пахло, как будто в городской сад гулять собралась. В сенях лестница крутая, поднималась старушка медленно, побледнела, задыхалась. Хватается за перила, подтягивается, но старается, чтобы это было незаметно. Поднялись, зашли в квартиру, а там все стены книгами уставлены. Куда ни поглядишь — книги, книги, книги. Как в центральной библиотеке, а, может, еще больше. Да что там библиотека! Тут были такие книги, в таких красивых кожаных переплетах, каких я в библиотеке сроду не видел.

— Позвольте угостить вас чаем?

Я солидно сказал ей, что дело прежде всего. Стал осматривать деревянные часы. Они, вообще-то, шли, но бой испортился. Старушка рассказала, что в иные дни они совсем молчали, а потом начинали колотить по сто раз подряд. Я предложил ей сделать эти часы совсем без боя: удалить из механизма всю систему боя и оставить только то, что связано с ходом. Старушка не согласилась, ей хотелось, чтобы часы работали точно так же, как при жизни ее покойного мужа Максимилиана, чтобы отбивали часы и четверти часа.

Стал я разбираться в механизме. Система боя очень сложная. Гребенка, по которой ходит рычаг, изготовлена из дерева, и сам рычаг боя тоже деревянный. Он-то и сломался. Вот в чем загвоздка. Часам несколько веков — дерево устало. А может, температурные колебания на него повлияли. Были видны позеленевшие колеса. Хотя мастер, делавший часы, стремился как можно больше деталей изготовить из дерева, без металла он обойтись не мог. Футора, в которых ходят концы осей, бронзовые, сами оси, и трибы, и зубья колес тоже из металла. Один футор из латуни. Это, конечно, отец вставил, когда часы восстанавливал. Думал ли он, что его сыну придется с этими часами встретиться? Может, он где-то в механизме какое-нибудь письмо на память оставил? Некоторые тщеславные мастера, когда редкие часы ремонтируют, оставляют на пластине механизма надпись, что в таком-то году эти часы ремонтировал такой-то, привет, мол, будущим поколениям! Но отец нигде ничего не написал.

Я сказал Ариадне Амнеподистовне, что заберу часы в мастерскую и изготовлю новый рычаг.

Старушка ни за что не захотела нас отпустить просто так.

— У меня чай настоящий, байховый. Вы знаете, теперь это редкость. Я завариваю его своим способом, может быть, вам понравится...

Приносит она стаканы в серебряных подстаканниках, сахарницу и даже сахарные щипцы, а сахара-то всего один маленький кусочек, да еще сухарь принесла. И все повторяет:

— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь!

Попили мы чаю. Долго ли этот кусок сахара и сухарь вдвоем съесть? Я стал книжные полки рассматривать. Она заметила это и говорит:

— Разрешите вам предложить альбом с открытками. Возможно, вам будет интересно. Правда, это очень старые открытки, но я их храню, как память о своем Максимилиане, он очень любил коллекционировать открытки... Н-да. Я не разделяла эту его страсть. Нет, не разделяла. Но он очень любил и потому... — А сама мне подает альбом.

Стали мы смотреть. Открытки были очень забавные. Я подумал, что напрасно она не одобряла своего Максимилиана. Он знал, что собирал. На одной открытке было нарисовано, как к одной девушке, видимо, кухарке, пришел солдат. Молоденький солдатик, лицо мальчишеское, но с усами, они у него кверху закручены. Он смотрит на кухарку, улыбается и ус подкручивает. На другой открытке кухарка выбежала из дому и стучит в дверь к своей подруге. На третьей открытке они вдвоем сидят за столом, и солдат уже смотрит не на кухарку, а на подругу, а кухарка нахмурилась. И надпись на этой третьей открытке есть: «Позвать Марью было надо» позвала — сама не рада!» А у солдата губа не дура: подружка Марья намного лучше ее самой. Да... хоть и старинный, но юмор. Мне понравилось. Потом там была открытка под названием «Февраль». Кругом все в цвету: сад, скамейка, на ней сидят молодой человек, тоже усатый, и девушка, они друг на друга смотрят внимательно и не замечают, как из-за кустов амурчик пускает в них стрелу из лука. Того и гляди, попадет девушке прямо в сердце. Витька вдруг возмутился:

— Какой же это февраль? Все кругом цветет! В феврале еще морозы.

А старушка ему пояснила.

— Художник изображает юг, возможно, это в Крыму или каких-либо других южных губерниях происходит.

Словечко-то какое — «в губерниях»!

Потом я наткнулся на такую открытку, что Ариадна Амнеподистовна вдруг покраснела и быстро стала меня просить :

— Пожалуйста, перелистните эту страничку, не смотрите, прошу вас. Я бы выкинула это, но, понимаете, память о Максимилиане...

Я перелистнул, но все равно успел заметить, что там было нарисовано. Ничего особенного: зима, снег кругом белый-пре-белый, фонарный столб, табличка с надписью: «Это место загрязнять запрещается!», и стоит паренек и пишет так искусно, что на снегу надпись получается: «С чем и поздравляю-с!» Паренек наглый, глаза — как у Юрки Садыса. А так ничего особенного. А она все оправдывается:

— Понимаете, мой отец — Эндельман-Козельский — был сослан за вольнодумство в Иркутск, а затем мы в Томск переехали. Естественно, я была воспитана в очень либеральном духе, да... И я вышла замуж за простого переплетчика... То есть, простите, я понимаю, рабочий класс, это сейчас, как вам сказать... А вообще Максимилиан был замечательный человек и большой мастер своего дела. Вы знавали миллионера Горохова?.. Ах, да, простите. Был такой очень богатый человек. Он заказал Максимилиану тысячу томов переплетов с золотым тиснением. Понимаете, тысяча томов. Одни пустые переплеты в стеклянных шкафах. Для красоты. И никто не знал, кроме Максимилиана, что это не библиотека, а просто пустые красивые переплеты. Выяснилось, когда Горохов, извините, скончался...

Витька опять вмешался:

— А у вас тоже пустые?

Она вроде даже рассердилась немного:

— За кого вы меня принимаете, молодой человек? У нас все настоящее. Есть уникальные издания! Я бы отписала это какой-нибудь библиотеке, но Максимилиан мне ничего не говорил, он скончался скоропостижно, и мне неизвестны его намерения в отношении этих книг... А вы читаете? Может быть, вам подарить какую-нибудь книгу:

Я, конечно, не растерялся:

— Хорошо бы Мопассана!

Ариадна Амнеподистовна очень удивилась:

— Вы меня извините, но... сколько вам лет, молодой человек?

Я немного себе добавил, говорю:

— Пятнадцать, шестнадцатый...

— Скажите пожалуйста! Никогда бы не подумала. Вы хорошо сохранились! Выглядите гораздо моложе своих лет. А что вам, собственно, больше всего нравится у Мопассана?

Я понял: она думает, что я вообще его не читал, и сказал ей:

— Больше всего мне нравится «Пышка».

— Гм... «Пышка». А почему? Почему именно это произведение? Если вас не затрудняет ответить, конечно...

— Что вы,— говорю— какие затруднения! Очень просто. Девушка легкомысленная, но любила свой народ, родную землю,— я так ее понял.

Старушка едва не села мимо стула:

— Да! Изумительно! Как быстро нынче созревают дети... Честно говоря, я не верила, что вы сможете отремонтировать по-настоящему эти старинные часы. Вы такой молоденький... Но теперь верю. Вот вам, пожалуйста, Мопассан.

Мы с Витькой понесли часы в мастерскую. Витька шел впереди, я сзади, старались шагать в ногу, чтобы не упасть, не дай-то бог — все завитки с корпуса обломатся. Внутри часов в такт нашим шагам звонила старинная пружина боя.

Я быстренько изготовил новый рычаг из латуни. Вообще-то мне известно строгое правило: изготавливать деталь надо обязательно из того же материала, из которого сделана сломавшаяся деталь. Но я подумал, что такого же твердого дерева мне все равно не достать, да и не смог я определить, из какого именно дерева этот рычаг изготовлен.. Какая, думаю разница? Металл-то все равно прочнее, чем дерево.

Выточил я рычаг, привинтил его к платине, вставил механизм в корпус, подтянул тяжелые медные гири. Часы затикали, потом отбили четверть часа, а через некоторое время и половину часа. Я послушал их с гордостью. Вот что значит — мастерство! Трезвонили как попало, а я заставил их бить правильно! И открыл дверцу и резцом начертал дату ремонта:

Август 1942 года. Н. Николаев — второй Приедет с фронта отец, я ему расскажу, как этим часам бойлаладил, может, даже поведу его в гости к Ариадне Амнеподистовне, и мы будем пить чай, и сахару будет сколько хочешь, да что — сахару, конфеты будут шоколадные, какие были до войны. Мы будем пить чай, а часы будут бить звучно, торжественно, как били многие, многие годы...

14. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, СУДЬБА И ЧАСЫ С ТРЕМЯ «Н»

Все лето мать уходила на работу с рассветом и возвращалась поздно ночью. Я сплю, она постучит, я отворяю, хочу ее разглядеть хорошенько, а света нет. Ощупью мать добирается до кровати, снимает кирзовые стоптанные сапоги, спрашивает меня, что я сегодня ел, как себя в мастерской вел.

— Я узнавала у Андрона Ивановича, но он мне отвечает очень уж неопределенно...

Я матери о своих неудачах не рассказываю. Не стоит ее расстраивать, я всегда ей говорю, что в мастерской у меня все идет хорошо. И если я даже голодный, ей говорю, что сыт. Я и в темноте вижу, как она похудела. Она в детдоме могла бы наесться досыта, но она с детдомовской кухни никогда ничего не берет. Обходится пайком. Это нужно, чтобы сотрудники поддерживали строгую дисциплину и тоже ничего не брали.

Все лето она с ребятами много работала, ремонтируя здание детдома, заготавливая дрова, обрабатывая посевы на землях подсобного хозяйства. Сейчас в детдомовском огороде почти все овощи спели. А у нас в ограде взошли лишь тощие бледные плети картошки, и

никак не цветут, значит, бесполезно ее и подкапывать: кроме зародышей, величиной с бусинку, ничего в лунке не найдешь. И это — наш огород!

Я помню, как еще до войны, однажды весной, она полезла на вышку, а мне велела стоять у дома с мешком. Я удивился, когда с неба прозвучал ее голос:

— Ворона! Разинул рот! Лови и высыпай в мешок!

Опустилось сверху ведро на веревке, а в нем — белые загогулины. Я одну лизнуть хотел, но ведро дернулось, наверху в чердачное окно кулак высунулся:

— Что ты возишься? Хочешь, чтобы весь двор узнал?!

— А что это, мам?

— Что, что! По-иностранному — гуано, а по-русски тоже оно!

Быстро насыпали полный мешок под завязку, но нести его было легко. Мать оглядывалась, чтобы никто не подсмотрел, загогулины под граблями моментально превращались в белую муку. Мать подмигивала:

— Это всем сюрприз от Морозова.

Я понял. Все знают, что наш дом до революции принадлежал купцу Морозову. Он любил голубей, ими был весь чердак забит, специально держал трех работников, чтобы птиц кормили. Сам, как напьется, лезет на крышу гонять голубей. Однажды с этой крыши загремел и убили.

Все у нас знали про это, но только мать вспомнила о спрессовавшемся голубином помете, что лежал на чердаке. Она сказала, что соседи, глядя на наши грядки, удивятся. Так и вышло. Раньше, чем у других, в тот год у нас завязались помидоры и огурцы, а кочаны капусты были тугие, как один. А уж грядки мать не просто вскапывала, она их по шнуру разбивала, и они выстраивались, как солдаты на параде! Даже палочки для подпорки помидоров она выбирала одинаковые и шлифовала осколком стекла, чтобы стояли белые, гладкие.

Эх, какой был огород! А теперь — что? Мы сажали вместо картошки... картофельные очистки. Выбрали толстые очистки, в которых «глазки» есть, и когда у матери выдалось немного свободного времени, кое-как вскопали землю. Тут уж не до красоты! Посадили эти очистки и ждем, что вырастет. Теперь многие так делают. Конечно, к осени будет немножко картошки...

Однажды утром мать не пошла на работу. Лежала бледная, тихая, а потом попросила меня сходить за врачом. Дала записку к нашему давнишнему знакомому доктору Кузнецову, который теперь работает в госпитале. Это большой специалист по внутренним болезням. Ему когда-то Софрон экзамены по терапии сдавал.

Кузнецов пришел. Приставил к материнной спине деревянную трубку, послушал, потом положил на спину ладонь, стал ее передвигать и стучать по ней двумя пальцами.

Я по лицу доктора понял, что хорошего мало.

— Нельзя так истязать себя, — заговорил Кузнецов, — вы себя совсем не бережете. Надо было бы обратиться раньше... Я выпишу освобождение от работы. Придется полежать. Покой. Ни в коем случае не нервничать, сердце испортить легко, а вылечить очень трудно. Так вот — покой... неплохо бы питание хорошее, особенно молоко, фрукты... это необходимо...

Он ушел, потупившись. Не хуже нас знал, как теперь трудно доставать продукты.

Мать оглядела комнату. Я следил за ее взглядом. Да, у нас теперь и продать нечего.

Никодим Никодимович как раз дома был. Он все это видел и сказал матери:

— Вот до чего они людей доводят! Работать заставляют человека, пока не свалится.

Мать приподнялась на локте:

— Кто это заставляет?

Никодим Никодимович замялся, поправил на лысине волосы :

— Да кто же? Фашисты эти проклятые! Кто же еще! Войну затеяли, вот и приходится людям работать, как лошадям!

— А-а! — сказала мать и задумалась.

В канун выходного дня она позвала меня, сняла с руки обручальное кольцо. Снеси, говорит, в золотоскупку, там тебе дадут боны, по этим бонам ты немножко продуктов получишь, какими отоварят. Потом сменяешь часть на молоко, а другую — на фрукты.

Мы с Витькой в выходной ранехонько пошли к этой золотоскупке, а там громадная очередь. Никогда не думал, что в нашем городе есть столько людей, имеющих золотые вещи. Простояли в очереди полдня, добрался, наконец, я до приемного окошечка, сунул в него кольцо, а старичок приемщик говорит:

— Мы берем только как золото, но не как ювелирное изделие, кольцо это раскусим на части, и стоять оно будет пустяки, так как вес у него небольшой... Кроме того, мы берем только у совершеннолетних, по предъявлении паспорта.

Я ему растолковал, что мать болеет и ей надо молоко, хорошо бы еще с фруктами, а сама она прийти не может по болезни.

Старик сказал, что не ручается, хватит ли на фрукты этого кольца, но пообещал принять его, если я принесу материн паспорт и записку от нее.

Пришлось еще раз стоять в очереди.

Старик дал нам боны, что-то очень похожее на деньги, и мы пошли с этими бонами в специальный магазин, там тоже была очередь, но все же не такая большая, как бывает в хлебных.

Сначала боны отоваривали мукой и сахаром, а когда я уже у весов был, стали отоваривать пеклеванными пряниками. Название пряников мне понравилось, дали мне за это кольцо два килограмма, почти полную сумку. Теперь надо было идти на толчок — меняться.

Сразу за развалинами цирка — толчок. Название подходящее: там действительно толкаются, туда-сюда мечутся. У пенья в руке — стеклянный кувшинчик с ручкой, а кошелку Витьке отдал, пусть он попробует менять, он везучий. Витька принялся кричать:

— Пряники поклеванные! На молоко меняю!

— А кто их поклевал, твои пряники? — заинтересовалась какая-то тетка, у нее как раз молоко в четверти было.

— Никто не поклевал, так называются, — сказал Кротенко, приоткрыл кошелку и показал.

Вот Витька! Название пряников перепутал. Но молочница все же заинтересовалась, сказала, что литр молока за половину наших пряников нальет. Наверное, у этой тетки детей много, и она решила их угостить. Но Витька — не лыком шитый:

— За такую гору пряников — литр! Да мы немного походим — четверть молока за них выменяем! Да и молоко у вас синее, жир, наверное, снятый.

— Сам ты синий! — рассердилась молочница. Но когда мы хотели идти дальше, остановила нас и, взяв половину пряников, наполнила молоком мой двухлитровый кувшинчик. Теперь надо было выменять фрукты.

Долго ходить не пришлось. В соседнем ряду коричнево-лицый дядька с орлиным носом монотонно, словно молитву, повторял:

~ Гру-уш, яблук-ук! Груш, яблук-ук!

Мы предложили ему пряники, он их сосчитал и сказал, что за двадцать пряников даст нам банку сухофруктов.

— Неправильно! — сказал Витька. — Пряники вон какие большие, а сухофрукты твои маленькие, банка-то совсем малюсенькая.

— Нэ понимаешь! — ответил южанин. — Большой яблук сохнэт, делается маленький! Весь сад на один корзина поставишь!

И тут позади нас раздался голос:

— Кого что ждет, кому что будет, бери судьбу, судьба рассудит!

Заросший седыми волосами дед держал в руках картонный ящик с пакетиками, вроде аптекарских. Белая мышка выдергивала эти пакетики зубами, то из одного конца ящика, то из другого.

Одна торговка дала деду червонец, и мышка выдернула для нее из ящика пакетик — судьбу. Мы заглянули тетке через плечо, в записке было написано: «Горизонт вашего счастья закрыт тучами сомнений. Но солнце нечаянной встречи разорвет пелену печалей, это*будет, когда от полосы радости до этого дня пройдет столько дней, сколько дней вашей тревоге...»

Мы ничего не поняли, а тетка была довольна:

— Истинно так, тучи сомлеваний... — шептала она.

— Сколько пряников дать за судьбу? — спросил Витька.

— Десять! — не задумываясь, ответил дед.

— А может, за пять пару отпустите?

— Это ж, вьюнош, не семечки, а судьба! — строго заметил дед.

Мне тоже захотелось узнать, что будет в записке. Я, конечно, понимал, что все это чепуха, но почему-то надеялся, что там будет какой-то намек то ли насчет потерявшегося отца, то ли насчет того, как скоро поправится мать.

Мышка, недолго думая, вытащила нам два торчащих рядом пакетика. Я свой открыл и прочитал: «Птица живет в золотой клетке, выпусти ее, и она споет тебе долгожданную песню...»

Витька свою записку вслух прочитал:

— «В вашем саду подул ветер и с яблонь облетел цвет, сломанную ветвь не восстановить, но та одной из ветвей созреет сладкое яблоко»...— Витька протянул записку деду: — Ты что дал?! Какие ветки, какие яблоки?! В огороде бузина, а в Киеве дядька! Ты, дед, или пряники верни, или другую записку давай!

— Глухому два раза молебен не служат! — неожиданно свирепо рявкнул дед. — погоди! Ты еще нас с Митькой вспомнишь! — и погладил свою мышку. А южанин наставительно нам сказал:

— Никакой мышка, никакой птичка тэбе компот не сварит...

И тут я понял, как сглупил. Ну, какое отношение может иметь к моей, отцовой или материной судьбе эта мышка, пусть даже она вся белая, очень умная и дрессированная! Когда я за пакетик рассчитывался, мне казалось, что от этого польза какая-то будет! А это все — ерунда на постном масле! Что-то вроде затмения на меня нашло. Да только ли на меня? Совсем взрослые люди, и даже бывшие фронтовики, отдают свои деньги за эти пакетики.

Ну, ладно. Хорошо хоть молоко матери принесу. Она попьет, ей, может, легче станет. Молока-то много, дня на два хватит.

И тут в углу базара, неподалеку от цирковых развалин, я увидел Дюбу, еще одного парня и Юрку Садыса.

Мы с Витькой переглянулись: вот так утопленник! Выходит, этот Дюба у нас около Ямской вместе с обласком в Ушайке утонул, а на базаре вынырнул, но уже без обласка. Здорово!

Я смотрел на Витьку и читал в его глазах те же мысли. Надо потихоньку отойти, чтобы Дюба и Садыс нас не заметили, и сообщить в милицию, что утопленник разгуливает по базару. А они там уж разберутся, как он тонул и почему вынырнул. Дюба наверняка тут долго будет прохлаждаться, он затеял одну игру, которую почему-то называют «Кавказом». Это — способ выманивать деньги у простаков.

Мы с Витькой стали пятиться, отступать потихоньку. Но Садыс вдруг подтолкнул Дюбу локтем, а нам сказал с масляной улыбкой:

— Ну, что вы не здороваетесь? Будто незнакомые! Идите сюда, сыграем!

А Дюба пристально смотрел на нас, словно гипнотизировал. Ну, конечно! Если мы сейчас уйдем, то и они все скроются. Делать было нечего, мы подошли и стали смотреть на игру.

Дюба уселся на кучу мусора, перед собой картонку поло--жил, а на ней — веревочка. Он эту веревочку быстро крутил в воздухе, бросал на картонку так, что она петелькой ложилась, и покрикивал:

— Игра «Кавказ»! Играем до трех раз! Выиграл — кричи, проиграл — молчи! Отец-дьякон, деньги на кон! Бабушка Алена прислала три мильена! Раз! Еще раз! Играем в игру «Кавказ»! Деньги — на кон, отец-дьякон! Нет денег — садись на веник, скачи по берегу прямо в Америку!

В чем игра заключается? Концы веревочки у Дюбы в руке, петелька лежит на картоне, надо угадать, если ты в нее сунешь палец, затянется она вокруг него или нет? Если петелька вокруг вашего пальца затянется, значит вы с Дюбы получите червонец, если петелька окажется ложной, мимо пальца пройдет, вы ему червонец даете. Как он петли делает — не уследишь, все в одну секунду происходит: хлесь — петля на картоне. Вокруг столпились зеваки. Юрка Садыс среди них. Дюба сбросил петельку на картонку, Юрка палец в нее сунул, и она у него на пальце затянулась. Юрка сделал вид, что необычайно обрадовался:

— Ага! Гони червонец!

Усатый парень, что рядом с Дюбой стоял, выдал Садысу червонец. Усач этот исполнял роль кассира. Дюба еще петлю метнул, Садыс в нее сунул палец и опять червонец подучил. Так несколько раз. Потом Садыс проиграл, потом снова выиграл. Публика не знала, что они из одной кампании, что все это подстроено. Некоторые стали Садысу оттирать: пусти, дескать, дай и нам сыграть; они думали, наверное, раз пацан выигрывает, то мы уж — и подавно. А Дюба приглядывался к публике, кто подурнее и у кого денег побольше. Таким он для затравки сначала давал выиграть три-четыре раза. А потом, когда их азарт начал разбирать, ошпыливал дочиста, как хозяйки — кур. Один деревенского вида мужичок так разошелся, что, проиграв все деньги, снял с себя пиджак и стал на него играть, но и его, конечно, тоже проиграл.

Вдруг меня словно током дернуло. Наверное, я побледнел или еще как-то в лице изменился, потому что Кротенко спросил:

— Что с тобой?

Я ему на нашем языке ответил:

— бы-Дю ан ке-ру сы-ча, его-мо тцао сыча!

Это я ему сказал, что у Дюбы на руке часы моего отца.

— Жет-мо гие-дру?

Но я-то видел, что это не другие, там на циферблате были выгравированы три буквы «Т, других таких часов быть не может. Смотрел я на эту Дюбину веревочку-петельку, и мне иная веревочка вспомнилась. Ну, конечно, Садыса работа! Не зря он на наш «секрет» глаза пялил.

У меня перехватило дыхание. Я сдерживался, но из моего горла сам собой вырвался крик:

— Ты, Дюба, — гад, дезертир! Тебя на твоей петельке повесить мало! Сними с поганой руки часы моего отца! Дюба растянул широкий рот в ухмылке:

— Огарок! Ты — что? В лоб захотел? Чего ты тут базлаешь? Кто тебе поверит? Я ж с тебя пыль сделаю!..

Какие люди толпились вокруг? Продавшие картошку крестьяне, мелкие спекулянты, барахольщики. Им в наших делах разбираться недосуг. Милицию зови — не дозовешься. Дюба это знал, вот и ухмылялся. У них тут, между ларьками, развалинами, сто ходов. Опытные.

Дюба схватил меня за руку, так что мне показалось, будто она в тиски попала.

— Идем-ка, сямка, спокойно потолкуем! — и потащил меня в развалины цирка. За нами пошел усатый, а Садыс еще и в спину меня подталкивал. Я заметил, что Кротенко осторожно

двинулся за нами. Видно было, что ему страшно, да я бы сам в другом случае с Дюбой ни за какие пряники не пошел бы в эти развалины.

Остановились мы на том самом месте, где когда-то Иван Поддубный негра Франка-Гута на обе лопатки положил. Дюба мою руку выпустил и спрашивает:

— Ну, как ты теперь запоешь?

Поставил я кувшинчик с молоком и схватил обломок обгоревшего кирпича. Знал я, что никакой кирпич мне не поможет, но что-то делать было надо. И я поднял кирпич и крикнул:

— Тебе часы отцовские не подходят! Отдай добром! Сдам тебя в милицию! Только тронь меня... Ты моего дядю знаешь!

Дюба меня ударил, и хорошо, что не кулаком, а пощечину дал. У меня и от пощечины чуть зубы не выскочили. Не помню, как все ушли. Смотрю: в цирке только Кротенко остался, весь дрожит. Я кувшинчик беру, а он сообщает:

— Садыс в молоко нагадил!

— А ты что же? Любовался?! Да?! Друг называется. Трус!

— Друг, друг! Меня усатый за руки держал, чуть кости не лопнули, бугай такой! В милицию надо...

Но в милицию идти было бесполезно. Ясно, что Дюба теперь надолго опять спрячется, ищи-свищи. И Садыс отопрется: ничего не знаю, моя хата с краю.

Трахнул я кувшинчиком о каменную стену. Такое меня горе взяло. Лягу здесь в развалинах и умру. Слышу, Витька руку мне на плечо положил:

— Идем скорей, может быть, южанин еще не все сушенки продал!

— А деньги?

Витька показал пятьдесят рублей:

— Вот, на шапку копил. Думал, по случаю шапку с кожаным верхом купить. Сейчас-то, летом, самое время ее покупать, не сезон. Но сегодня на толчке ни одной хорошей не было... На! Только отдашь потом!

Побежали мы. Закупили у южанина остатки сухофруктов. Легче мне стало, даже припухшая щека меньше стала болеть. У Бынина еще займу, молока куплю. Только чем отдавать?

Мы шли с базара мимо особняка, в котором раньше жил знаменитый миллионер Кухтерин. Там теперь госпиталь. Отец рассказывал, как подростком он ходил в этот дворец Кухтерину часы заводить. У миллионера, может, сорок комнат, и в каждой — часы. Их все надо завести и подрегулировать, чтобы одно время показывали. Вот отец с лестницей-стремянкой и бегал по миллионерским комнатам. Самого видел. Здоровенный рыжий детина.

Смолоду этот Кухтерин занимался перевозкой грузов по трактам и, говорят, при этом грабежами не брезговал. Железнодорожной ветки не было. Все грузы перевозились по Московскому и Иркутскому трактам. Днем и ночью тянулись к Томску подводы с алданским золотом, китайским чаем, зерном и мануфактурой. В сорокаградусный мороз обалдеют возницы от морозного лесного воздуха и подремывают, завернувшись в собачьи дохи, надетые поверх овчинных полушубков. На всякий случай у них в санях лежат заряженные ружья, топоры. Но пурга баюкает, притупляет осторожность. Тут-то и вылетают кухтеринские молодцы с гиком, визгом, на тройках отборных лошадей. Мелькнут кистени с длинными ручками, повалятся в снег неповоротливые врзницы, а постромки уже перерублены и сани с поклажей прицеплены специальными крючьями. И они уносятся с награбленным добром, и снова пусто и тихо на тракте.—

Вот с чего начал этот купец богатеть, а потом стал настоящим миллионером.

И вдруг меня осенило: в нашем доме у Морозова-купца было много голубей, от них на чердаке помет остался. А у Кухтерина в доме было много часов, значит, могут где-то на чердаке старые сломанные часы остаться. Вот найти бы их, наладить, продать и с долгами рассчитаться.

— Пойдем! — сказал я Витьке и потянул его во двор особняка.— На чердак слазим.

— Чего мы там не видели? — удивился Витька.

— Там все может быть. Клад, возможно, зарыт. Чердак-то миллионерский.

— А-а! — протянул Витька. — Попробовать можно, да как бы не заметили...

Мы быстро взобрались по пожарной лестнице. В госпитале обед, все в столовой.

На чердаке была темнота, на лицо липла паутина, сверху какая-то труха сыпалась. Валялись продырявленные кастрюли, дырявые пружинные матрацы, я о пружину ногу расцарапал. Никаких часов! Только сломанный самовар нашли, да к чему он?

Витька стал ворчать, что зря полезли, и вдруг крикнул:

— Есть! Нашел!

Я так и знал. Витька — да чтобы не нашел! Он везучий, хотя и живет в доме под номером тринадцать. Кинулся к нему, думал, что он часы нашел, но он стукнул по балке какими-то кипами, поднимая тучу пыли.

— Что это? — спросил я.

— Книги старинные! — радостно сообщил Витька. — Во! Журналы «Нива»! Переплетены-то как! Наверное, сам Кухтерин читал...

Журналов много. Тяжеленные. Как их с чердака снимать? Витька предложил сбросить и самим быстро по лестнице спуститься. Так и сделали.

Дома в дверях я столкнулся с Никодимом Никодимовичем. Он, видимо, собрался в город.

— Какие старые издания! Откуда они у вас, молодой человек?

— С чердака.

— Кто же их положил на ваш чердак?

— Да не с нашего чердака, а с кухтеринского, а кто положил — не знаю.

Никодим Никодимович удивился:

— Как же можно с чужого чердака? Хозяин хватится, разве это хорошо? А? Молодой человек?

Вот привязался! Мне к матери скорее надо, а он с разговорами. Я быстро пояснил ему, что чердак де чужой, а государственный, что Кухтерин был кровопийцей и давно смылся.

— Из кого же он кровь пил? — не унимался Никодим Никодимович, он так и сверлил меня глазами.

— Из рабочих и крестьян! — крикнул я, поднимаясь по лестнице.

Никодим Никодимович снизу ответил:

— Да, конечно, были кровопийцы. Меня, помню, тоже раньше эксплуатировали...

Но я его уже не слушал. Открыл дверь, а у нас полная комната ребятишек. Сначала я даже испугался немного, а потом понял — детдомовцы. Среди них был и Петя Воронов — чистый и с эмблемой-елочкой на груди. На столе шипел примус, из кастрюли несло вкусным паром.

— Картошку варят, — кивнула мать, — принесли с детдомовского подсобного. Хотела я всех их прогнать, да сил нет, вот они и распустились, творят, что хотят! Ну, погодите, вы-здоровею — я вам задам. Разве можно общественную картошку частному лицу скармливать?!

— Вы не частное лицо! — сказал Петр Воронов, — вы нам... как мать всем... — Он вдруг замолчал и виновато на меня поглядел. Но я был только доволен, что они ее так уважают.

Мать вскоре велела им идти обратно в детдом, а то воспитатели волноваться начнут. Они ушли. Мы поели картошки. Я стал варить компот матери. Не сказал я ей ничего ни про Дюбу, ни про Садытса, ни про часы с тремя «Н», ни про наше глупое гаданье. Нельзя ее сейчас расстраивать. Вот отыщу отцовские часы, деньги заработаю, верну долги, тогда и расскажу ей все. Когда она поправится.

15. КАК ВЕРЕВОЧКА НИ ВЬЕТСЯ...

К осени в нашем городе с продуктами стало еще труднее. Прасковьев еле передвигался. Верка Прасковьева еще больше вытянулась и похудела, хотя казалось, что худеть ей уже было некуда. А Дергун — помер. У него, наверное, был туберкулез, но он об этом не беспокоился, никому не говорил. Теперь в его доме окошки крест-накрест заколотили, и никто туда не селится, потому что дом на ладан дышит, а вот стайка, у Дергуна с лошадиным стойлом почти новая.

Мать все никак не могла понравиться, хотя сначала я думал, что болезнь ее быстро пройдет. Мы решили, что я съезжу за сухофруктами и мукой в Щучье, к бабушке. По слухам, в Северном Казахстане до сих пор на базаре муку стаканами продают. Мы с матерью стали хлопотать, чтобы мне дали отпуск. Штаневич согласился. Только сказал, что сначала придется съездить на уборочную в колхоз: артель должна выделить несколько человек.

Нашу группу возглавил сам Штаневич. Ехали мы за реку на допотопном катеришке. Казалось, его вытащили из музея, немного почистили, приделали трубу от самовара, и он запыхтел, зашевелился. На противоположном берегу Томи, на лугах шел сенокос, и ветер доносил запахи чуть подсохшей скошенной травы. На каждом стогу стоял мальчишка или старик, они ковыряли вилами вершины стогов. Штаневич пояснил, что эти люди вершат стога. Очень важно хорошо макушку сделать, чтобы сено не промокло от дождей. Ясно, что в каждом деле есть свои хитрости.

Стогов на лугах множество. Иные еще зеленые, другие уже подсохли и стали светло-желтыми, золотистыми. Много людей с косами и серпами окашивали кусты, края болот, чтобы ни одна травинка зря не пропала. Иногда мимо проплывали березы, а вокруг них все словно подстрижено под машинку. Под иной березой вкопан в землю стол, сработанный из жердей, иногда даже печка стоит около такого стола, прямо под открытым небом.

От того места, где мы сошли, до старинной татарской деревни Томышево, где нам предстояло работать, — километров пять по болотам и лугам. Я шел вместе с Андроном, кассиршей из парикмахерской Тамарой и Витькой Кротенке.

Я пошарил в зарослях и нашел на берегу болота пучки — растение, ствол которого похож на дудку. Кожуру со ствола очистишь — и можно есть, немножко даже сладкое. Андрон полез за мной, хватал эти пучки, жадничал и все повторял:

— Умм! Витаминов! Умм! Витаминов!

Я знал, что много пучек есть нельзя, но Штаневичу не сказал; пусть ест, потом узнает. И, действительно, вскоре он схватился за живот и давай выть, даже на землю лег, стал кататься. Вот тебе — витаминов! Не жадничай.

Деревня Томышево вытянулась в одну длинную улицу возле берега Томи. Здесь в незапамятные времена поселились томские татары, а потом и наши казаки. От такого соседства выиграли и те и другие: русские научили татар копать колодцы, строить бревенчатые избы, сеять пшеницу, а татары показали им грибные и ягодные места, научили охотиться и рыбачить.

Я сказал Витьке, что хочу, в первую очередь, найти в деревне дом, где жил мой дед, где родились моя мать и дядя Петя. Хорошо бы еще найти избу, через которую мой дед хотел переехать зимой и об которую убился.

В Томышево главным оказался бригадир — Садык Садыкович. Вида у него — никакого, у нас Бынин представительнее выглядит с часами на руке и в черном пиджаке. Бригадир был в шапке с торчащим ухом. Я думал, что ему лет сорок, оказалось — все шестьдесят. Андрон по этому поводу заметил, что люди здесь не знают городских забот, едят натуральную пищу, в ней сплошь витамины, потому все такие молодежавые.

Я спросил Садыка Садыковича, где находится дом моего деда Ивана Ивановича Коруну.

— Ай ты внучка! — удивленно сказал бригадир. — Вон дома дедкина! — показал на длинное деревянное здание со множеством окошек. Я подошел, заглянул в одно окно и увидел

телят возле кормушки.— Твой дедкин дом старый стал, мы раскатал, два бревна, которые хорошие, в телятник клал, вот она! — указал мне на бревна бригадир.

Бревна толстые и старые. Вот и попробуй представь себе по двум бревнам, как твои предки жили!

Садыкович привел нас в избу к татарке и велел пораньше ложиться спать. Татарка уже укладывалась, нас это удивило, на улице было еще совсем светло. Мы в городе раньше двенадцати не ложимся. Отправились погулять. Сквозь черные прибрежные кедры проглядывала река.

— Томь! — воскликнула Тамарка.— Моим именем реку назвали!

— А вот и не твоим! — сказал я ей и указал на татарочку, спускавшуюся с ведрами к реке. Татарочка была в красном платье, которое застегивается спереди, как халат, и в красных сапогах. Лицо у нее, как у всех томских татарок — белое, круглое, а глаза синие.

— Вот ее именем назвали! — кивнул я Томке на девочку. А та оглянулась и показала ряд ровных и мелких зубов:

— Мен не Тома, мен Фатима!

Почти как в придуманном нами языке.

Томь... Томышево. Вспомнилась легенда о татарской княжне Томе и княжеском пастухе Ушае. По-разному легенду эту рассказывают, складывалась она, видно, не сразу, кто-то что-то придумал, а кто-то добавил.

В легенде говорится, что на высоком берегу большой реки жил татарский князь Тоян, дом его доставал остроконечной верхушкой до самых звезд и был окружен земляным валом. Тома подрастала, была красавицей, сватали ее разные богачи, но князь все отказывал им: не хотелось с дочерью расставаться. Тома скучала, ходила на большую реку купаться. Стража отстанет немного, отвернется, а Тома разденется и — в реку. Ныряет, плавает.

Вот однажды искупалась она, задремала и вдруг видит — стоит по пояс в воде прекрасный юноша. Она его спросила, кто вы, князь? А то был пастух, но ведь одежды на нем не было, как тут понять — пастух или знатный человек.

Стали они таким образом встречаться. Пастух стоит по пояс в воде и с ней беседует. Но однажды Тома спросила, мол, что это у него за странная манера с девушками стоя в воде разговаривать? Он и признался, что не князь он, а простой пастух, одежда у него рваная, он стыдится в ней Томе показаться. Тогда в следующий раз она принесла ему дорогие одежды и сказала:

— Ты лучше всех князей на свете!

Стали они дружить. Но кто-то из сановников подглядел и донес Тояну. Разгневался князь и послал воинов — схватить пастуха. Бросился в реку Ушай и поплыл, но стража его настигла в том месте, где в большую реку впадает маленькая. Ушай стал отбиваться камнями. А потом кинулся в малую реку и утонул. Тома все видела и бросилась в большую реку. С тех пор большую реку называют Томью, маленькую — Ушайкой, а на берегу там есть места, которые называются Первый, Второй и Третий камушек.

Я смотрел на противоположный берег: там по крутому обрыву спускались темно-зеленые ели, черно-зеленые пихты, меж ними светились березки, пунцовели, рдели и разливались кровью рябины, осины, кусты шиповника, кудрявились коричневые кедрачи и подсвечивали всю картину серебристые тополя и тальники.

Штаневич предложил половить в старице рыбу, они с Витькой принялись вырезать удилища и прилаживать к ним лески, а я все смотрел на реку, на ее берега...

Очнулся от спора. Андрон спорил с Витькой из-за пескаря. Этот пескарь будто бы хотел на андроновскую удочку клюнуть, а Витька рядом забросил свою снасть, и пескарь сдуру за нее ухватился. Я-то знал, что Витька просто везучий, он поймает рыбу и там, где ее сроду не было.

Андрон поворчал и затих, сердито глядя на поплавок. Тамарка не решалась шуметь, сидела, покусывая тальниковую ветку. И вдруг с другой стороны протоки какой-то парень что-то швырнул в воду и тотчас в кустах спрятался.

— Хулиганы, понял! Всю рыбу пораспугают... за такое дело...— договорить Андрону не пришлось. Грохнуло, словно земля раскололась, вверх поднялся фонтан воды. Андрон начал икать, Витька в воду свалился, а Тамарка упала на траву и от страха задргала ногами. Я тоже сильно испугался, но все же успел заметить, что сразу после взрыва в воду бросились женщина, старик и парень, они были в трусах, плавали, хватали всплывшую кверху брюхом рыбу, бросали на свой берег. Все это они делали очень быстро и ловко. Когда у нас в ушах перестало звенеть, в протоке уже никого не было, только два-три пескаря поблескивали брюшками в лучах заката. Витька тотчас скинул штаны и поплыл за этими пескарями. Андрон порывался куда-то бежать, бормоча что-то.

Тамарка сказала:

— Лучше молчите. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Мы отработаем и уйдем, а они со своей протокой пусть что хотят, то и делают... Да мы и не узнаем их в лицо...

Мы отправились спать. Засыпая на русской печке, я пытался вспомнить лицо парня, который бросил в реку взрывчатку. Я видел его мельком, но он мне почему-то показался знакомым.

Мне кажется, я не успел и уснуть, как в окно затарабанили:

— Кончай ночевать! Здесь вам не шалтай-болтай, надо работай!

Оказалось, что татарки уже давно нет дома, а разбудил нас бригадир, он повел всех на поля, разбросанные среди лесов. На одних пшеница уже была скошена, на других ее только косили. Нас бригадир поставил вязать снопы и в суслоны составлять, чтобы они проветривались.

Тамарка то и дело взвизгивала, жаловалась, что ей руки колет. Андрон старался идти со снопом к суслону помедленнее. Зря. Ведь мы ставили суслоны каждый по отдельности, и бригадир каждому из нас трудодни будет начислять отдельно. У Витьки снопы получались лучше, хотя он тоже вязал их впервые. А мне было тяжелее, чем другим, физическим трудом я прежде почти не занимался, разве только снег из ограды вывозил да в огороде копался, но это куда проще и легче, чем вязать снопы.

Когда я уже чувствовал, что скоро упаду и больше не встану, откуда-то появился Садыкович, посмотрел на нашу работу и головой покачал:

— Так вы четверо за сутка трудодень не заработай! — Подошел к одному суслону, к другому: — Ветер дунет — все расплунет. Надо вас с люди ставить, так нельзя...

Поставили нас к молотилке, снопы ей в горло пихать. Работала она от движка на приводе, стучала оглушительно. Я хоть в молотилках не разбираюсь, но сразу понял, что лет ей никак не меньше, чем нашему бригадиру. У женщин, пихавших в молотилку снопы, лица были повязаны платками до самых глаз. Вскоре я понял, почему. Я сдуру стал впереди, возле горла молотилки, где ходят зубья, которые снопы захватывают. Пылью и трухой мне моментально забило ноздри, уши и глаза. Я чихал, кашлял, и чуть не плакал, а сзади мне снопы добавляли и покрикивали:

— Шевелись! Сонная муха! Кель-кель!

Я не видел, кто там кричит, не до этого было. Когда позвали завтракать и я в какой-то луже умылся, то увидел, что работали рядом со мной старухи или девчонки моего возраста. Мы сели возле ведра с картошкой и стали есть. Деревенские запивали молоком из бутылок, а мы так обходились. У меня все тело свербил от трухи, она набилась и под рубаху и под штаны. Штаневич тоже чесался. Тамарка притихла и больше петть не пыталась.

После обеда я встал с вилами ближе к скирде, снопы сбрасывать. Но и у скирды, оказывается, не мед. Помахает вилами, руки начинают отниматься, а надо все новые и новые снопы подавать. Те, которые у молотилки, ругаются:

— Не живой, что ли? Поворачивайся! Ты так давай, чтобы у нас куча не убывала, а то с земли тяжело поднимать!..

А труха и до скирды долетала, хотя я и без нее задышался. Я не видел, что делали Андрон, Витька и Тамарка, при такой работе про себя забудешь. Я шевелился уже автоматически. Я думал о том, почему деревенские после такой работы живыми остаются, как это у них получается. Молотилка все грохотала, не переставая ни на минуту. Хотелось, чтобы она заглохла, бензин бы кончился, что ли. Но она и не думалаглохнуть» возле нее бегал старичок с ключами и масленкой, что-то на ходу подкручивал, смазывал,

В обед нам подали в том же ведре суп с мясом. Но я хлебнул несколько раз, упал на солому и сразу заснул. Сон был странный: я слышал все, что вокруг говорили, но в то же время мне снилось, что я стал молотилочной зубчаткой и кружусь с утра до вечера. Так не хотелось вставать, когда Садыкович вдруг оказался рядом. Он долго тряс меня за плечо, я, наконец, очнулся и попросил дать мне другую работу.

— Какой тебе другой работа! — рассердился он, — мешка таскать?

Не знаю, как я дотерпел до ужина. Теперь я стоял не у молотилки и не около скирды, а посередине, другим снопы передавал. Руки все исколол, казалось, поясница вот-вот переломится.

На ужин опять сварили картошку. Да, такой работы при плохой еде не выдержать, это не часы, которые можно и натошак починять. Ну, думаю, поедим — и домой, спать. Тамарка с Андроном как хотят, а я сразу на полати. Только я об этом подумал, бригадир подошел:

— Седни надо другой скирда молотить, а то дождь ходить будет! Молотилка таскать на другой место будем... Я спросил:

— Скоро стемнеет, как молотить?

Бригадир пояснил: натаскаем хворосту, разожжем костры.

Не помню, как вторую скирду домолачивали. Все было, как во сне: снопы, костры, запах гари, грохот молотилки. К утру, в самом деле, стал накрапывать дождичек, я не сразу понял, что это, казалось — по щекам букашки забегали. Я все хватал снопы, кидал, кидал, совал. И вдруг чувствую, кто-то за рубашку меня дернул. Смотрю — ха девчонка, что у реки Фатимой назвалась:

— Эй, малай! Ты что? Шальной? Все ушел, молотилка не работает.

Я поплелся в деревню. Витьку мысленно ругал за то, что меня не позвал. Шел я, шел, немного заплутался в сумерках, вышел не к деревне, а к заимке. Там через овражек жердочки перекинуты, а за мостом, в остатке кедрача стояла древняя изба, возле нее в землю вкопан длинный стол, за которым сидели люди.

— Клавдея! Еще медовухи нам тащи! — раздался старческий голос. Потом стукнули кружки, и старик сказал:

— Так я, значить, те три улья богашевскому мужику загнал, Садыковичу сказал, что пчелки улетели. Я ему говорю, будут они лететь, пока солнца не достигнуть, тогда и война кончится!

И старик засмеялся, неприятно, скрипуче.

— Поверил он? — спросил голос помоложе.

— А чо? Верь не верь, где ен по нонешним временам другого пасечника найдет?

К столу подошла женщина, парень ухватил ее за руку, потянул к себе, а старик крикнул:

— Ты, Дюба, это брось! У ее муж на хронте!

Тут я сразу понял, почему на протоке парень, глушивший рыбу, мне показался знакомым. Это, выходит, Дюба со стариком и женщиной был!

Помчался я в деревню, нашел избу, разбудил Витьку Штаневича. Андрон узнал, в чем дело, занял:

— Ты, понял, что придумал? У меня, может, язва, я вообще старый. Я не могу жизнью рисковать, этот бугай, понял, очень опасный тип... Нет, я его вязать не пойду. Я вообще ночью из дома не выйду...

На дворе уже светало. Побежали мы с Витькой к бригадиру. Объяснил я Садыковичу. Он почесал затылок:

— Племянник пасечника это, знаем. Она весь больная, синий делается и дергается сильно. Удивила меня эта простота:

— Я тоже могу задергаться, даже посинеть могу, если хотите. Дезертир он самый настоящий, милицию вызывать надо...

— Милисия в городе. Далеко. Сами забирать будем...— вздохнул Садыкович и надел шапку, одно ухо которой торчало вверх. Позвал он нескольких колхозников-татар покрепче, а мы с Витькой пошли за ними.

Дюба не ожидал нашего прихода и храпел на полу на собачьей дохе. Его еле разбудили — после вчерашнего еще не прошел у него хмель. Садыкович быстро и ловко скрутил ему руки вожжами. Я попросил обыскать его, чтобы вернуть часы моего отца, но часов у Дюбы не оказалось, пропил, наверное. Разве он скажет? Он только зубами скрипел, матерился изо всех сил и плевался. Посадили его на телегу и связанного повезли в город.

Вскоре мы из колхоза вернулись. Я нес домой целое ведро картошки и представлял, как мать будет радоваться. Она действительно обрадовалась! А потом вдруг полезла в шкаф, достала наш альбом и на первой странице указала на фотографию, где отец возле мастерской снят, под надписью: «Точное время г-на Бавыкина».

— Смотри!

Я эту фотографию уже тысячу раз видел. Пожелтела она немного от времени, а так все такая же. Мать спрашивает:

— Ничего не замечаешь?

Я пожал плечами. Тогда она ткнула пальцем в отцовского хозяина:

— Вот он, Никодим Никодимович!

Пригляделся я к г-ну Бавыкину, а ведь, верно, чем-то напоминает квартиранта, но только — самую малость. На фотокарточке он ровный, прямой и никаких угрей на носу нет.

— Может, не тот?

— Как же, не тот. Арестовали его. И меня несколько раз вызывали, спрашивали — как к нам попал. И фотокарточку эту с ним сличали. Бавыкин это. Он ведь за границей где-то жил. Явился, хозяйчик! И неспроста, видать...

Вот тебе фурнитура: вилочки, волоски, оси для швейцарских часов! Кто мог знать! Тихонький, матери компоту выделил. А сам тут какой компот затевал? Зубодробитель, а ягненком прикинулся. Верно в плакатах пишут: «Будьте бдительны!» Хотел старое вернуть. «Точное время г-на Бавыкина!»

На другой день я пошел в мастерскую, чтобы с Быниным перед отъездом проститься.

Его тоже вызывали. Все купленные у старика вилочки, оси, камни он в ступку сложил и собирался их истолочь пестом. Я сказал, что фурнитура не виновата. Тогда Бынин опомнился, шваркнул пестом так, что чуть ногу себе не отшиб, и заорал:

— Дали бы мне его, гада, своими руками удавил бы! То-то он тут глазами вертел, как жерновами, ведь это его мастерская была...

16. КОГДА ВСЮ НОЧЬ СКРИПЯТ ДЕРЕВЬЯ

Перед моим отъездом Витька пошутил, мол, едешь, туда, где молочные реки и кисельные берега. Я еще до Новосибирска не доехал, но уже убедился, что добраться до этих берегов — непросто. Два дня никак не мог закомпостировать билет. Шатался по вокзалу, думал о том, что же будет, если придется здесь еще задержаться? Ведь я съем все взятые в дорогу продукты!

Радио передавало хорошие новости. Наша армия не только остановила фашистов под Сталинградом, но и взяла в кольцо большую вражескую группировку. Наконец-то! Только бы не вырвались гады из этого кольца!

Как томительно длится время в ожидании поезда! Я бродил по улицам, разглядывал дома. Новосибирск, наверное, тоже неплохой город, но Томск лучше, потому что я там каждую дыру в заборе знаю.

Неподалеку от вокзала толпились люди. Я заглянул в центр круга, увидел старика, который играл на гармошке, не сняв рукавиц. Казалось, что гармонь сама играет, так как не было видно пальцев, которые бегали внутри рукавиц. Он пел на мотив «Раскинулось море широко» очень жалостливые слова. Понятно: чем жалобнее поешь, тем больше денег набросят в засаленную ушанку, распластавшую уши по земле. Руки ознобить старик, видимо, боялся, а вот за голову не беспокоился.

Он с хронты домой возвратился без ног,
Стоит у крыльца дорогого,
Ему сообщает про маму сынок,
Что вышла она за другого! —

Пел старик. Женщины всхлипывали, бросали в ушанку рубли. А я подумал: на чем же стоит инвалид «у крыльца дорогого», если у него ног нет! Моя мать отца с фронта ждет, все женщины мужей ждут. Может, был какой один случай, так зачем же сразу его в песню тащить? Да что со слепого возьмешь? Беда в том, что такие песни иногда и зрячие поют: Нет, по мне, если ты зрячий, пой, как тот артист в госпитале. Он мне на всю жизнь запомнился. Он не про случайное пел, а про главное, и не ради денег.

Я не дал гармонисту ничего. Прошел еще дальше, а там была площадь, и на ней строили огромное здание. Один новосибирец сказал мне, что это будет самый большой в Сибири дворец-театр. Громадина, в которую двадцать наших драматических театров могло бы вместиться, верхушка круглая, вроде цирка, только значительно больше. И несмотря на войну, на трудное положение, дворец этот весь в строительных лесах, по ним лазают, ведут отделку, достраивают эту громадину. Значит, никто не сомневается в нашей победе, верят люди, что придет время и вспыхнут в этом дворце огни, выйдут; артисты и споют, как тот дядька, в госпитале, что-нибудь про обыкновенного русского человека. И еще много-много в этом здании прозвучит песен и арий о любви и прочем, жаль только, что про нас ничего не споют, потому что оперы про всех написать невозможно.

Находился я, устал. А места, чтобы присесть, в вокзале не мог найти. Ночь уже настала, очень хотелось спать. Я пробрался в тоннель и там нашел местечко возле лестницы. Привалился к стене и сразу заснул.

Проснулся я от толчков и крика:

— Разлежся на дороге! Билеты компостируют в восьмой; кассе!..

Но закомпостировать билет — только полдела. Самое трудное в поезд сесть. Все лезли в вагоны, отталкивали друг друга. Следующий поезд будет только через неделю, если бы я не сел, все это время пришлось бы питаться только кипяченой водой.

В вагоне мы — как шпроты в банке. Я был притиснут к спине жирной тетки, у нее в руке мешок с чем-то твердым и острым, и это твердое и острое уперлось мне в бок, с другой стороны меня давил тощий дядька, кости которого были еще тверже и острее теткинго мешка. Поезд двинулся, в открытую дверь веяло ветерком, пахнувшим степью и первым снегом. Хотя давка была немилосердная, люди немного успокоились, потому что знали, что наконец-то едут куда надо, стали разговаривать, жаловаться на жизнь, войну.

Ночью на неведомом полустанке в наш вагон влез военный с фонарем, в котором догорал стеариновый огарок. Тут выяснилось, что мучились мы по вине безбилетников, их в

нашей теплушке оказалось больше, чем тех, у кого имелись билеты. Было много шума, но безбилетников все же высадили, и в вагоне сразу стало просторно, вольготно, я даже место на нарах для лежания захватил.

Проснулся я под утро от громкого крика. Тетка, в которую я был вдавлен, стыдила тощего мужчину. А тот оправдывался:

— Учитель я... из Ленинграда... Извините — оголодал. Вот и съел ваши сухари...

Потом он начал корчиться, извиваться, тетка ругалась, говорила, что он притворяется, чтобы избежать ответственности. Многие сначала тоже так думали, но на следующей остановке явились медички, осмотрели мужчину и сказали, что у него заворот кишок. Его тотчас унесли, что с ним случилось — мы никогда не узнаем. Он ночью потихоньку доставал у тетки из мешка сухари и ел до самого утра. Медички объяснили, что если бы у него была вода — сухари запивать, то, может, ничего бы и не было.

На крупных станциях наш вагон снова переполнялся так, что казалось — лопнет по всем швам. Потом постепенно Становилось свободнее. Последний день пути я почти ничего не ел и очень обрадовался, когда увидел маленький вокзальчик и вывеску с надписью «Боровое».

Быстро прошел я по тихой длинной улочке к сопкам.

Вот они сосны, корни которых наполовину высунулись из песчаной почвы, шиферная крыша, вместо забора — плетень, Сколько я здесь ни был, а все осталось по-прежнему. Только Софрона и тети Шуры нет, а бабушку я сейчас увижу. Я^ пролез между жердями и увидел на дверях большой висячий замок. Я остановился в растерянности, и тут из соседних домов повыскакивали женщины, и все — ко мне.

— А Софронихи дома нетути! Она в мангазею побегла!

— К нам заходить, обождать немного!

— Софрониха прибежит сейчас!

Зачем они бабушку Софронихой зовут, когда ее фамилия Коруна? Правильнее было бы ее Корунихой звать. Видно, из уважения к Софрону.

Вон и бабушка Мария Сергеевна из-за угла показалась. Пролезла сквозь жерди, меня сразу увидела и ничуть не удивилась, просто протянула мне руку и сказала:

— Ну, здравствуй, внучонок!

Никаких поцелуев, объятий или других нежностей — суровая, как моя мать. На ней длинное допотопное казачье платье, кирзовые сапоги, шагает твердо, словно строевой солдат.

Мало того, что даже не заплакала, не спросила, каково мне после дальней дороги, еще и топор мне в руки сунула:

— Вот хорошо, что мужичок приехал, поколи-ка там чурочки на растопку.

Я колол, она из ларя в ведро угля набирала. Это, видно, в честь моего приезда, потому что с ларем рядом целые штабеля сушеных кизяков лежали. Вбежал с дровами в дом, она у меня их приняла и сказала:

— Ты стой там, у порога, не двигайся!

Она печь раскочегарила, вода в большом котле моментально булькать начала. Бабушка успевала и уголь подбрасывать, и тесто месить, «крак» — яйца раздавливала, в тесто выливала, р-раз — тесто разделила на несколько полосок, хлесь — они все в каральки завились, дзень! — сковорода в духовке. Бабушка обернулась.

— Раздягайся!

Снял кепку, телогрейку, хотел на вешалку повесить, а она:

— Ку-да! Я те дам! — Взяла кончиками пальцев мою телогрейку и в котел — бух! Снова: — Раздягайся! Вот привязалась!

— Кому говорю? Долго ждать?!

Отвернулся, снял трусы, она их тоже в котел отправила, насыпала в воду что-то белое, поясnila:

— С хлоркой уварится, ото будет суп!

А стежонки мои стоптанные, в грязи, взяла и прямо втопку» в огонь кинула. В чем я теперь ходить буду? Могла бы тоже — с хлоркой... Бабушка успокоила:

— Старые сапоги тебе выдам. От тех стежонков только срам, у нас никто такого по станице не носит... Письма-то от отца так и не было?

Я рассказал, что на все наши запросы пока отвечают, что отец пропал без вести. Мы надеемся на лучшее, но от тревожных мыслей давно житья нет. Мать к тому же заболела, расстраиваться ей нельзя. А как не расстраиваться? От отца известий нет. Дядя пишет, но очень коротко, как Суворов.

Бабушка усмехнулась:

— Петро не писучий, он деловой.

Она показала мне газету «Красная звезда, в которой написано, что военный хирург Софрон Сергеевич Сергеев провел уникальную операцию — залатал раненому бойцу череп металлической пластинкой. На Софрона это похоже. Не зря он так предан своему делу. Ну, а тетя Шура, конечно, ему помогла, она же вместе с ним на фронт отправилась.

Я спросил, как Пеструха доится. Мария Сергеевна вздохнула:

— Отдала я ее, Пеструху-то... в фонд обороны...

Бабушка говорила, но успевала между тем и каральки стряпать, и мое белье стирать. То что-то в ступке толчет, то в кладовку метнется, зафыркавший чайник с плиты снимает, сахар в вазочку сыплет.

В дверь постучали.

— Обождить! — крикнула бабушка. Достала из сундука старое платье и сунула мне: — Одягайся!

Мальчику, почти мужчине, в платье щеголять? А бабушка сама на меня его надела, протянула мои руки в рукава. Я сказал, что оно мне длинно, она набрала в рот иголок с шипечками на концах и раз-раз по одной их изо рта мечет, платье подкалывает.

— Ото ж франт нашелся, впору ему требуется! Я засомневался, что какая-нибудь из иголок мне в тело вопьется, а она:

— То не иголки, то английские булавки... Заходить!

Вошла тетка с ведром и кувшинчиком, стала у порога, подняла глаза в угол и быстро перекрестилась. Одета, как и бабушка, в такое же длинное платье и тоже в сапогах.

— Ой, да у вас гостенечки! И кто ж они вам будут?

— Младшенькой моей чадушка — внучоночек, — пояснила бабушка.

— Ой, да какие тощенькие, да смазливенькие! — тянула тетка нараспев, — Да как же тебя, девчоночка, кличуть? — и рассматривала меня в упор, словно в музее находилась, а я не человек, а скульптура или экспонат. Я отвернусь, а она зайдет с другой стороны и смотрит:

— Да как же твое имечко, девочка? Я ей сказал:

— ля-Ко!

— Ой, это что ж за Ляка такая? Ото ж имечко дали девочке!

Меня зло взяло, и я сказал нарочно басом:

— Может, кому девочка, а кому и мальчик! Тетка изумилась. Бабушка смеялась:

— Та я ж гутарю — внучоночек. Одежку его после дороги провариваем, а ему свою на время дала.

Тетка, оказывается, к бабушке не в гости пришла, а молоко сепарировать. Бабушка сняла тряпку с машины, взяла с припечка металлические чашечки с дырочками в донцах, нанизала на стержень. Грузики, ось с противовесами. Тоже — механизм. Мне пришлось ручку крутить, а я так есть хотел. Но нельзя же ныть, если ты мужчина. А к бабушке заходили все новые тетки.

Они говорили:

— Все знают: Софрониха машинку кипятком обдаст, тряпицы у ее белые... Да еще такую чистоту найдешь? После ее сепаратора хоть молочко, хоть сливочки в рот приятно взять...

Тетки молоко сепарировали, чтобы потом из обраты делать варенец, из сливок масло сбить и все это продавать на базаре. Бабушке за сепарирование каждая отливала или маленькую чашку сливок или большую кружку обраты. Получалось, что сепаратор не хуже Пеструхи доился, только ручку тяжело крутить да мыть потом все детали надо долго и тщательно. Что ж, тоже работа, а бабушка в ней — мастер. Не зря тетки даже с дальних улиц идут только к ней на сепаратор. Это я понимаю. К хорошему мастеру клиент за тридевять земель отправится.

Когда ушла последняя молочница, я рассказал бабушке, что приехал зарабатывать питание для матери. Бабушка задумалась, потом сказала:

— Если бы не Софронов дом, я бы, может, к вам теперь переехала. Но нельзя в такое время дом без присмотра оставить. Что Софрон Сергеевич подумает? Да и зачем вам лишней рот? А продукты заработать я тебе помогу. У нас тут «сарафанное» радио знаешь как работает? Ото ж и есть...

Мы попили чаю, поели вкусных ватрушек, и она отправилась по знакомым рассказывать, что приехал в Щучье молодой, но очень хороший часовой мастер. Потом мы легли спать.

На другой день я с утра тщательно протер кухонный стол застелил его белой бумагой и прикрепил к краю кнопками белую тряпку, которая должна свисать во время работы мне по колени, чтобы выскочившие из пинцета детали могли в нее зацепиться.

На бумаге я расположил плоскогубцы с различными концами, в строгом порядке — корнцанги, отвертки, масленку наковаленку-нитбанк, другие инструменты. Я боялся — вдруг никто не придет?

Вошла женщина. Как назло, она принесла маленькие ручные часики — «гробик», точно такие, как те, что я не мог починить в Томске. Меня это озадачило. Первый клиент! От него все зависит. Как ты ему часы починишь, такая и репутация у тебя будет на новом месте. Принесла бы она ходики, я бы ей их в два счета наладил» и она разнесла бы по всем: Щучьему весть, что приехал замечательный мастер. А «гробик» этот, может, пустить на ход не удастся, и тогда по Щучьему разнесется совсем другая весть: приехал какой-то заморыш, который ничего не умеет. И я останусь без заработка. Но отказаться — нельзя.

В часиках оказался спутанным волосок. Надо было его выправить. А это — самая сложная часовая работа, я ее до сих пор как следует не освоил. Я вдел в глаз лупу и склонив ся над кухонным столом. Тетка сидела тут же, рядом, и во все глаза глядела на меня.

Осторожненько я надавливал на волосок корнцангами, руки дрожали, глаза застилал пот, хотя в кухне еще не топил и было не так уж жарко. Тетка расправляла шаль и болтала

— Как же это ты, такой молоденький, такое хитрое мастерство усвоил? Это ж надоть так! Это ж надоть! Винтики все махонькие, как козявочки!.. А ты там не спортишь, случаем, чего? А?

— С мастерами во время работы разговаривать категорически воспрещается! — сказал я как можно солиднее и строже. Она испуганно умолкла, только глаза раскрыла широко.

А я подумал: вот сломаю сейчас волосок, как буду тогда выкручиваться? Бынина-то рядом нет!

Бабушка бесшумно скользила по кухне, потихоньку растапливала печь, старалась мне не мешать. И тут я вспомни мать, мысленно сказал себе: спокойно! В этом волоске — продукты для матери, в этом волоске, может, ее жизнь! Ты не имеешь права волноваться и спешить. Надо делать все осторожно, по всем правилам, неспеша, тогда получится,

Руки у меня стали дрожать меньше, пинцет коснулся спирали в нужном месте, и прядь волоска приобрела необходимую форму. Часы затикали. Я услышал, как стучит у меня в груди сердце. Оглянулся и сказал бабушке:

— Подайте воск!

— Это какой же воск? — удивилась бабушка.

— Ну, свеча восковая у вас есть?

Бабушка вышла в сени и принесла мне свечу. Я отколупнул от свечи крохотный кусочек, расплавил его на спичке и горячим воском заделал прорези корпусного кольца часов. Так делают хорошие мастера после того, как вставят механизм в корпус. Теперь в отремонтированные часы ни влага, ни одна пылинка не попадет. Эта женщина будет долго носить часы, и они будут ей исправно показывать время. Она будет вспоминать меня добрыми словами. Я подал ей ее «гробик».

— Пожалуйста!

Она прислонила часы к уху, потом надела на руку, опять послушала:

— А не остановятся?

Я не стал ей ничего говорить, только пожал плечами, — дескать, о чем разговор. Она посмотрела на меня уважительно и спросила про оплату. Я сказал, что хотел бы получить сухофруктами, если можно. Она сказала, что можно, осторожно, на цыпочках, удалилась, а через несколько минут принесла мне не только мешочек с сухофруктами, но и изрядный ломоть сала.

— Благодарствуйте! Там еще двое часы принесли, можно им войтить?

Так началась у меня в Щучьем работа. Повалили клиенты, несли и ручные часы, и карманные, и ходики, и будильники...

А однажды явился мужчина в кирзовых сапогах, овчинном полушубке и зеленой велюровой шляпе, заломленной пирожком, и было видно, что он этой шляпой гордится так, что лопнуть готов. Человек, не сняв шляпы, обратился ко мне:

— Можно часы проверить?

— Минуточку, — сказал я, — посмотрим.

Взял ножик, поддел крышку часов, а она не поддавалась. Может, с резьбой? Бывают иногда у новейших швейцарских часов крышки с резьбой для пыленепроницаемости. Кладу часы на ладонь, прижимая кусочком замши, начинаю вращать — не получается. Может, правая резьба? Вращаю в другую сторону — тот же результат. У меня пот на лбу выступил, а этот, в шляпе, весь сияя, гордо заявил:

— Не старайтесь зря. Кроме меня, никто мои часы открыть не может... Позвольте отверточку.

Крышка оказалась действительно с резьбой, но он просверлил отверстие в корпусе и загнал в него штифт заподлицо. Фабриками такие фокусы не предусмотрены, откуда я мог ахать? А он, надувшись от гордости, представился:

— Часовых дел мастер Григорий Пятиногин!

Ну, думаю, пока что ты себя крышечных дел мастером показал, крышка — это еще не часы, дырку просверлить и штифт загнать любой слесарь может. Настоящий часовщик никогда такими глупостями заниматься не станет. Глянул я на механизм его часов: семикамневые, а он лаком для ногтей вокруг латунных гнезд покрасил, и вид у них стал, как у пятнадцатикамневых. Это меня еще больше убедило, что передо мной халтурщик-самоучка, который настоящих мастеров и в глаза не видал. А он еще стал пыжиться:

— Не каждый сможет из семикамневых сделать пятнадцатикамневые!

— Верно, — сказал я, — не каждый захочет портить механизм часов: лак выкрошится и механизм засорится. А вот как насчет правки волосков? Брежет вы загнуть можете? Или, скажем, налеты в вилочке отрегулировать?

Очень мне захотелось с этого крышечного мастера спесь сбить, он ведь, поди, и во сне не видал, как такие работы выполняются. А он ничуть не смутился:

— Я недавно у часов «Павел Буре» волосок припаял...

Я чуть с табурета не свалился. Да разве можно в часовом механизме что-либо паять? Тем более — волосок! За это настоящие мастера руки поотбивали бы! Через полгода после пайки волосок весь перержавеет, и часы можно будет выбрасывать.

Гражданин в шляпе гордо удалился. Спросил я о нем бабушку, она засмеялась:

— Та жестянщик он! Ведра чинит. Часы тоже пробует, да недолго после его ремонта они ходят. Одно слово — Гришка Пятиногин,

Долго потом этот Пятиногин у меня из головы не выходил. Зачем люди иногда хотят показаться не тем, что они есть на самом деле? Рано или поздно кто-нибудь их выведет на чистую воду! И зачем говорить о том, чего не знаешь, ведь при этом так легко попасть впросак! Вот я одну пьесу видел. Очень хорошая пьеса. Но есть в ней досадная несуразица. Там заключенный один часы сделал, с кукушкой. Он так рассчитал, что кукушка должна прокуковать, когда у него срок заключения кончится. И вот этот заключенный просит у начальства, чтобы ему привезли часового масла, а то, дескать, если он часы не смажет, они отставать будут и вовремя не прокукуют. Очень хорошая пьеса. Но только автор ее не знал, что несмазанные часы не отставать будут, а наоборот, спешить. Вот так и испортил хорошую пьесу несуразицей. Потому что написал о том, чего он сам не знал.

Мне, как несовершеннолетнему, полагался месяц отдыха. Я прожил в Щучьем уже три недели и ни одного дня не был без работы. Так проходил мой отпуск. Бабушка складывала в специальный мешочек заработанные мной 'сухофрукты, сало, ржаную, грубого помола, с остями, муку.

По радио передавали хорошие вести. Похоже было, что фашистам из кольца уже не вырваться. Мы много говорили о нашем отце, о дяде Пете, о Софроне, о тете Шура. А потом...

С вечера был ужасный буран. В Томске такого сроду не бывает. Ветер, казалось, поднимает дом. А утром буран кончился — так сразу и неожиданно, словно его обрубали топором. Люди вылезали из своих избушек откуда-то снизу, из-под снега, шурились от сияющего вовсю солнца, откапывали двери, а на улице было тепло, почти как летом, снег был тяжелый и сырой. Странная зима...

Я тоже пошел откапывать наш дом. Провозился часа два. Потом затарабанил ногой в дверь, а бабушка странно приглушенным голосом ругала меня:

— Чего молотишь? Не можешь потише?! Тише говорю!... — открыла дверь, шепнула:

— Шура приехала!

Я не сразу сообразил, что за Шура. Взглянул на вешалку, увидел армейскую маленькую шинельку и понял: тетя Шура! А что ж она без Софрона. Второй-то шинели нигде не видно.

Я постучал в комнату и позвал тетю Шуру. Вышла она, узнать ее было трудно: она всегда была брюнеткой, а тут вдруг оказалась блондинкой. Но у нее не только цвет волос изменился, походка и голос тоже, кажется, стали другими. Ходила, словно пол у нас в ямах, и она боялась в одну из этих ям упасть.

— Давайте, накрывайте на стол, чего уж там, — тихонько сказала она бабушке. И вдруг стукнула кулаком по столу:

— Как глупо! Глупо!

Бабушка извлекла из подпола бутылку водки. И вот тетя Шура, которая никогда прежде не пила, налила себе полный стакан, стала пить, а он у нее по зубам стучал, дребезжал, как плохой будильник.

— Глупо! Дико! — повторила она, пролила себе остатки водки на гимнастерку. Бабушка быстро перекрестила свой стакан и выпила одним духом. Утерла губы фартуком и спросила:

— Как оно было-то?

— По-дурачки было, — нахмурилась еще больше тетя Шура. — Раненого он оперировал, тут на наш поезд налетели «мессеры». Тревогу дали, все в щель бегут, а он говорит — пока швы не наложу, никуда не пойду. Раненый-то безнадежный был, все равно бы концы отдал... Ну, забила я в щель, а когда эти мерзавцы улетели и был дан отбой, опять в вагон кинулась. Смотрю, раненого насквозь прошило, сам рядом со столом валяется... проникающее, в брюшную полость. Еще в сознании был, говорит, летальный исход неизбежен, но все же оперируй на всякий случай, хоть практика будет... Я — что? Хирург, что ли? Три пули

извлекла, сердечные ввели, кровь вливать готовились. Под скальпелем у меня и кончился. Обеспечил практикой на всю жизнь...

Пригляделся я к тете и понял, что не блондинкой она стала, а поседела, ни одного темного волоска не осталось. Она ерошила белые волосы и говорила, что Софрона наградили посмертно. Эх, подумал я, не могли ему этот орден дней на семь раньше дать! Хоть бы с неделю поносил! Есть люди, которые умеют о своей работе рассказывать. А такие, как Софрон, как отец, делают свое дело молча. Таких чаще всего после смерти награждают, а то и вообще забывают наградить.

Выяснилось, что тете Шуре дали инвалидность. Она и в больнице уже не могла работать, ее самое надо было лечить. После первой же проведенной дома ночи она взяла ножовку, вышла в палисадник и все акации, все яблоньки, все тополя возле окон спилила. Бабушка кричала на нее, уговаривала, плакала, а она оттолкнет Марию Сергеевну и продолжает пилить. Бабушка рукой махнула. Потом, за ужином, все же спросила:

— Зачем надо было деревья губить?

Тетя Шура вся передернулась:

— Зачем-зачем! Всю ночь ветками в окно тарабанят, с ума сойти можно! Вы спите, как сурки, а я — мучайся...

Она велела нам все дверные петли смазать маслом: скрипели они, оказывается, а мы-то с бабушкой ничего не замечали! Смазали. А ей все равно звуки мешают: то у соседей слишком громко дрова колют, то где-то через улицу кто-то колодезной цепью звякнет. А уж дома мы сапоги еще на крыльце снимали и в кухню на цыпочках крались. Она все равно услышит, выскочит из комнаты, за виски хватается:

— Черт знает что! Топочут, как слоны!

Бабушка раз чайную ложку на пол уронила, так тетя потом весь день успокоиться не могла. Я простудился, ночью кашель разбирал. Знаю, что кашлять нельзя, но чем больше сдерживаешься, тем сильнее хочется. Кашлянул несколько раз, так она потом две ночи не спала и даже плакала. Сказала, что я погубить ее хочу, что человек без пищи почти месяц может жить, а без сна погибает на пятые сутки.

Жалко мне было тетю, но я ничем не мог ей помочь. И отпуск у меня кончался. В тихий морозный денек тетя Шура и бабушка проводили меня до Щучинского вокзальчика. За плечами у меня на пришитых бабушкой лямках висел мешок с продуктами. При ходьбе он тяжело похлопывал меня по спине, словно успокаивая, ободряя.

— Поправляйтесь! — пожелал я тете Шуре и прижался щекой к морщинистой бабушкиной щеке. Она хлопнула меня сильной ладошкой по макушке, так что шапка съехала мнена самые глаза:

— Ну, будь казаком! Не журысь! Матери помогай! Работы не бойся, хай она тебе боиться!

Так и осталась у меня в памяти бабушка в длинном казачьем платье, с широко расставленными ногами в новых кирзовых сапогах, в теплой шали, которая закрывает лоб до самых глаз — серых, спокойных. Мне кажется, она так много видела, что ее уже ничто испугать не сможет, а если испугает, то в глазах этого не прочтешь.

17. МЕСТО У ОКНА НА ПРОСПЕКТ

Томск меня встретил изрядным морозом. Я шел от вокзала, тащил на себе мешок с продуктами, но эта ноша была радостной. Вот и наша Ямская, наш дом. Таким он милым показался! Я еще издали заметил, что из трубы идет дым. Что бы там ни было — живет наш дом! Сопротивляется!

Снег от крыльца был отброшен, все вокруг подметено. Я подумал, что мать уже поправилась. Постучал, она открыла мне, но сразу же легла в постель. В мое отсутствие ее не-

сколько раз навещали детдомовцы. Где-то ухитрились утащить ворота, порубили на дрова. Детдомовцы и снег расчистили.

Я рассказал матери о бабушке, о тете. Узнав о Софроне, она задумалась, потом тихо сказала:

— Вот и Шура одна осталась. Ей теперь тяжелее, чем мне...

Пошарила в картонке, где мы храним документы, протянула какую-то бумажку:

— Ордер на американскую посылку. Дают семьям фронтовиков. Я не смогла сходить в райисполком.

Я взял ордер и побежал. Из самой Америки нам посылка. Удивительно!

В райисполкоме, в очереди кто-то ворчал:

— Лучше бы они второй фронт открыли, танков бы прислали, самолетов...

Кладовщик долго рассматривал мой ордер, потом подал красивую картонную коробку с надписью: «Наше помогание русским», и блестящую жестянку, на которой был нарисован усатый человечек, цепляющий на грудь салфетку. Я сказал, что американцы надпись на коробке сделали с ошибкой. А кладовщик ответил, пододвигая ко мне ведомость :

— Ты бы по-ихнему вообще не смог. Распишись и шуруй!

Домой я побежал еще быстрее. Очень хотелось узнать, что же там, в американской посылке? Она пришла с другого конца земного шара! Приятно, что кто-то там о нас думает, заботится.

Вскрыл дома картонку — одежда! Очень красивый в три цвета пиджак. Я стал американскую одежду примерять, а мать вдруг рассмеялась. Сначала я не понял, в чем дело, заглянул в зеркало и увидел, что спереди и сзади пузыри вздуваются: пиджак-то с горбуна! Я немножко огорчился, но тут же решил этот пиджак Бынину подарить: пусть узнает, что и в Америке есть люди с горбами, может, меньше будет переживать.

В жестянке был желтый, как пляжный песочек, яичный порошок. Я приготовил из него омлет, но это кушанье даже при хорошем аппетите в горло шло с трудом. Тут я нехорошо подумал про союзников и сказал матери, что они сами белок съели, а нам нарочно прислали один желток, чтобы мы тут с ним мучались. Мать пояснила, что белок не высушивается, а целиком яйца к нам из-за океана не довезти — протухнут. К тому же яйца-то наверняка черепашьи, в них белка очень мало. Когда на другой день я шел в мастерскую на работу, то уже знал, что в мое отсутствие Штаневича сняли с поста временного председателя, потому что его проделки всем надоели. Возвратился с фронта один раненый, хороший человек Максим Петрович Кузнецов, он и стал теперь председателем. Штаневич же снова простой часовщик. Как же мы теперь будем с этим бывшим председателем вместе работать?

Штаневич работал у окна, что выходит на улицу. Увидев меня, поморщился. Поздоровался, но таким тоном, как будто какое-то ругательное слово сказал. Сделал вид, что ему некогда, воткнул лупу в глаз и склонился над верстаком. Я спросил, где Бынин. Он, не оборачиваясь, буркнул:

— Там, где ему давно быть положено... Давно из мастерской всяких халтурщиков и алкоголиков, понял-нет, гнать надо было. Да характер у меня, понял, мягкий, вот я, понял, и терпел ваши штучки-дрючки. И получил за это, понял, благодарность...

Я попросил его не ругаться, а лучше вспомнить, за что его с руководящей работы сняли. Андрон умолк. Это меня ободрило и я добавил, что нечего ему перед центральным парадным окном красоваться. Тут мой отец в молодости сидел и в это окно мою мать впервые увидел, а потом я сам тут сидел. Я подошел к верстаку и потихоньку сказал:

— Освободите, пожалуйста; место.

— То есть как?! — удивился Андрон. — Ты кто такой, понял, чтобы распоряжаться?

— Такой же мастер, как и вы, а может, даже лучше! — ответил я, и это была истинная правда,

— Ты, понял, не пытайся третировать, места здесь никто не лимитировал,— вспыхнул Андрон. Книжными словами решил удивить, как будто никто, кроме него, таких слов не знает. Я ему тоже врубил по-книжному:

— Третировать не собираюсь, ретироваться вам придется, поскольку я декларирую, что данное место мне перешло от отца по наследству!

Андрон заморгал удивленно и обиженно, начал перетаскивать инструмент на бынинский верстак.

Мне было радостно, что Штаневича разжаловали, и грустно, оттого что теперь придется сидеть с ним вдвоем. Очень огорчила меня весть о болезни Бынина.

Но постепенно я привык. Люди ко всему привыкают. Можно даже со Штаневичем иногда поговорить, не всерьез, разумеется, а так — пошутить. Что поделаешь, раз такой сосед по верстаку попался. Не вечно же будем вдвоем. Может, Бынин поправится, вернется с фронта отец и дядя.

Андрон тоже со мной примирился. Еще бы! Теперь ему нередко приходится обращаться ко мне, когда что-нибудь в часах сделать не может. Поневоле приходится отношения поддерживать. Плохо он часы починяет. Бывает, у них хода нет, колеса заедают. Нет, чтобы причины доискаться — он вставляет в барабан двойную пружину! С двойной пружиной часы пойдут, но, во-первых, недолго, во-вторых, завода у них на сутки хватать не будет. Это и есть халтура.

Я принес американский пиджак в мастерскую и все ждал, что не сегодня-завтра Бынин выйдет на работу и я преподнесу свой подарок. Но Василий Андреевич не приходил. Побывал я несколько раз у него дома, но дверь была закрыта на старый висячий замок.

Однажды к нам в мастерскую вошел человек, круглолицый и горбатый. Смотрю: дверцу нашу открыл и прямо к верстаку прет. Я хотел было призвать его к порядку, дескать, куда вы, гражданин? Присмотрелся и понял, что это Бынин. Только по горбам его и можно было узнать. Лицо пухлое, словно он неожиданно сильно растолстел, а фигура стала еще более костлявой и горбы, вроде, увеличились.

Я вручил ему американский пиджак. Он взял его, но надевать не стал. Сел, закурил. Заметил, что я внимательно смотрю на его лицо, и ткнул себя в щеку указательным пальцем. На щеке ямка осталась и довольно глубокая, сантиметра два. И пока он в мастерской сидел, ямка эта никак не хотела выравниваться. Бынин сказал, что это болезнь, что ему надо десятку на лекарство, а еще лучше двадцать рублей. Штаневич стал моргать мне, мол, не давай! Я все равно дал. Во-первых, мне на эту ямку на щеке жутко было смотреть, во-вторых, я знал, что Бынин — честный человек, уж во всяком случае со Штаневичем не сравнишь. Я хотел спросить Бынина, когда он выйдет на работу, но он схватил дрожащей рукой деньги, шмыгнул в дверцу и уже в приемное окошечко ответил:

— После поговорим!

— Вы пиджак-то примерьте! — крикнул я ему вслед.

— Ладно! — махнул он рукой и быстренько промелькнул перед моим окошком.

Вернулся он часа через два. Мне показалось, что это уже какой-то третий Бынин: глаза сверкали, руками размахивал резко, словно дрова рубил, а говорил громко и отрывисто, как армейский, командир. По его словам выходило, что его любили многие женщины, и если бы он захотел, то и Банковскую у дяди Пети в свое время отбил бы. Еще он говорил о том, что у него и дома заказов много, он гораздо больше зарабатывает, чем в мастерской, что у него было много золотых часов и облигаций и, если захочет, он еще достанет, а те, что были, он роздал эвакуированным. Раньше я ничего подобного от Бынина не слышал, поэтому очень удивился. А Штаневич сказал ему, что он мешает работать. Бынина это очень рассердило:

— Мешаю? А чему? Что ты можешь? Тебе телеги починять и то нельзя доверить!

Андрон хотел что-то возразить, но Бынин выставил вперед лоб:

— Молчать! Я лобовик! На калган посажу!

Я хотел было спросить, почему он американский пиджак не надел, но не успел. Бынин крикнул, что даже одним воздухом с Андроном дышать не желает, и выскочил из мастерской. Так я и не узнал, в пору пришелся Бынину американский пиджак или нет.

Через несколько дней Бынин вновь пришел и опять не в пиджаке, а в какой-то грязной хламиде. Тихий, глаза узкие, как щелки, и мокрые, хотя он не плакал. В мастерскую он почему-то не зашел, — просунул голову в приемное окошечко:

— Коля, двадцаточку на лекарство...

Что я мог ему ответить, если денег у меня не было? Тогда Бынин обратился к Андрону, жалким голосом:

— Андроша, выручи... Ты — мастер, я — мастер...

— Ничего нет, понял-нет! — буркнул Андрон. — И вообще всех пьяниц не напоишь...

— Андроша, пойми: не ради чего-нибудь прошу. Леню Зубаркина помянуть надо.

— Сегодня, понял, Зубаркина помянуть, завтра — Богохвалова, тебе, понял, только бы причина была.

— Андроша, хоть на стопарика...

— Сказано — нет!

Бынин ударился лбом о приделанный к окошечку прилавок:

— Хоть древесного спирта, хоть ацетона дай! Горит! Вот здесь горит! — стукнул себя по горбам. — Понимаешь ты, мастер?

Андрон встал и попытался закрыть окошечко. Бынин ударил по дверце лбом, она больно стукнула Андрона по руке.

— Милицию! — завопил Штаневич. — Руку сломал! Куска хлеба, понял-нет, лишил!

Бынин танцующей походкой пробежал мимо моего окна и скрылся. Андрон мотал ушибленной рукой, дул на нее, жаловался, что ему больно. А мне почему-то никак не хотелось сочувствовать. Бынина жизнь больней ушибла, ему уж, видно, не поправиться, а рука у Андрона поболит и перестанет.

— Посмотри, понял, посинела, да? — спросил Штаневич. Я, как настоящий хирург, ощупал его пухлую ладонь, он морщился, шипел.

— Тэ-экс! — сказал я с софროновской интонацией. — Сустав лопнул. Небольшая трещинка, пустячок, а от нее костный туберкулез может развиваться. Вот у одного моего знакомого...

Штаневич побледнел:

— Что, понял, было у знакомого?

— Инфильтрат костного неврата. Половину руки отняли... А он тоже чуть-чуть руку ушиб, не думал даже никогда...

Андрон, осторожно поддерживая больную руку другой рукой, пошел к выходу:

— Открой, понял, дверцу, не могу я, что-то в жар бросило. К хирургу пойду. У них, поди, сегодня на прием не? попадешь, номерков уже нету, а без номерка...

— Это уж точно, без номерка не примут. И очередь...

Андрон, постанывая, вышел из мастерской. Я выглянул в дверь. Вот за углом скрылся.

Пусть попереживает. Не стоит он никакого сочувствия. Бынина вот жалко, погибших Зубаркина и Богохвалова, Софрона. Прекрасные были люди, и не вернуть их...

Радио передавало о наступлении наших войск на юге, на Дону. Я работал и думал о том, что в последнее время мне все чаще приходилось передвигать флажки на нашей старой карте на запад. Но флажкам еще предстоит долго двигаться по нашей территории: до коричневого кружка с надписью «Берлин» по-прежнему далековато. И все же в один прекрасный день мой флажок будет воткнут в этот кружок. Вот только когда?

Видел я одного немца на вокзале в Петропавловске, где у меня была пересадка. На лавочке рядом сидели. Ничем от русского не отличался, даже курносый, лицо такое простодушное. На голове что-то вроде пилотки с ушами, китель и брюки — драп-дерюжное

заштопанное сукно, на ногах — ботинки. Я думал, какой-то Ваня деревенский, одежонка немножко странная, да мало ли во что сейчас народ одевается? Но вскоре заметил, что в такой одежде там было еще несколько человек, и говор услышал, по которому определил — фрицы! Настоящие пленные, может, из-под самого Сталинграда!

Удивляло то, что они вот так просто по вокзалу разгуливают и никакой охраны не видно, даже немножко жутко сделалось. Мне казалось, что надо возле каждого поставить нашего бойца с автоматом или, по крайней мере, с винтовкой. Ничего подобного! Прохаживались двое военных возле дверей, а третий за начальником вокзала бегал, мест в вагоне требовал и на фрицев кивал.

Все было так обыденно, просто, что даже обидно. Ну, раз я рядом с пленным оказался, то мне захотелось знанием немецкого языка блеснуть да и вообще услышать, как живой враг разговаривает. Но все немецкие слова, как назло, в тот момент у меня из головы вылетели, и я понес такую чепуху, что потом самому смешно стало:

— Гутен морген! Зи фарен нах хаус?

По-русски это значит: «С добрым утром! Вы едете домой?» А при чем тут «гутен морген», если на дворе был как раз вечер, к тому же и козе понятно, что пленным до конца войны никто домой не повезет. Куда их везти, если наши войска еще вовсю с ними бьются?

Немец, однако, сделал вид, что глупости моей не заметил, тоже сказал мне «гутен морген», а потом добавил:

— Наин хаус! Арбайтен! Работать на плен!

Фриц выглядел измученным, совсем не страшный был фриц. Не знаю, что со мной случилось, но я достал из мешка печенюшку и протянул пленному. Он вначале отталкивал ее» опустив глаза, потом все же взял и сказал:

— Данке!

Черт его знает, зачем я ему печенюшку дал. Может, он фашист! Теперь будет меня всю жизнь совесть мучить. Вообще-то он на фашиста не похож, зачуханный такой рядовой фрищик, но кто его знает... Больше с ним поговорить не пришлось, им скомандовали подниматься, наверное, все-таки места выхлопотали.

Я про ту печенюшку матери ничего не говорил, вообще никому не рассказывал, неловко как-то. Пусть бы они скорее все в плен сдавались, лежащих не бьют, это и у мальчишек во всех играх предусмотрено. Только я про этот случай все равно никогда никому, даже Витьке Кротенко, рассказывать не буду.

18. СКОЛЬКО СТОИТ САМОЛЕТ

К февралю я почти в два раза перевыполнил план-ремонта, намного обогнав Штаневича. Об этом говорил на общем собрании работников артели сам председатель Максим Петрович Кузнецов. Он стукнул кулетьяшкой по краю трибуны и сказал:

— Вот так и надо всем работать, товарищи, как этот подросток! Мы тоже можем помочь фронту, каждый на своем месте! Неважно, что не танки выпускаем! Не в этом дело! Теперь каждый — солдат!

А однажды меня вызвали в контору и вручили пригласительный билет. На серой оберточной бумаге было напечатано:

Уважаемый товарищ Николаев Н. Н

Вы приглашаетесь на заседание актива, имеющее быть в Томском драматическом театре в день Красной Армии 23 февраля 1943 года, в 11 часов дня.

Оргкомитет.

Вот, назвали меня товарищем, обозначили тремя «Н», об этом, видимо, и мечтал отец, когда передавал матери часы с «Марсельезой». Да только где те часы? А другие такие мне не

сделать, это только отец мог. Нет, далеко мне до того, чтобы я всем трем «Н» полностью соответствовал!

В назначенный час я прошел по заснеженной аллее к драматическому театру. Его давно не штукатурили, не белили, вид у него немножко поблекший, но мне сразу же вспомнилось, как "в довоенное время мы ходили сюда, как звучала тут музыка, как в опере «Дубровский» дом на сцене горел натуральным огнем, даже в первом ряду жарко было сидеть.

В дверях молодой военный с красной повязкой на рукаве. Я подумал: вдруг не пустит? Мало ли что с пригласительным билетом, подумает, что я его спер где-нибудь или нашел, фотокарточки-то на нем нет! Но он мельком взглянул на мой билет и равнодушно сказал:

— Проходите!

И вот я уже в фойе театра; Оказывается, здесь и раздевалка работает! Я снял телогрейку, подаю гардеробщице и — удивительное дело! — узнаю ту самую женщину, которая когда-то принимала у моей матери дорогую дошку - и лисью горжетку, когда меня впервые в жизни привели сюда, много лет тому назад. Она чуть поседела. Телогрейку мою взяла так бережно, словно я ей соболью шубу вручил, принесла мне номерок и с полупоклоном сказала: «Пожалуйста» — будто я важная личность и ей очень приятно, что я их театр посетил. И так она к каждому обращалась. А на вешалках обнимали друг друга пустыми рукавами в основном потертые шинельки да бушлаты...

Прошли мы в зал — ряд и место на пригласительном не указаны, значит, каждый может сесть там, где ему по вкусу, — и я пошел в первый ряд, к самой сцене. Мать говорила, что в театре на драме нужно сидеть в третьем ряду, на опере — в двадцатом или в ложе, а я думаю — всегда надо сидеть около сцены. Лучше можно разглядеть, из чего снег сделан, из чего звезды и все такое прочее. Если артисты хорошо играют, то забудешь сразу, что и снег и звезды ненастоящие, будешь и плакать, и смеяться, и верить всему. А если выйдут такие халтурщики, как Пятиногин, как Штаневич, так хоть всамделишную луну повесь — все равно никто из зрителей в нее не поверит.

На сцене не было никаких декораций, стоял длинный стол и по нему — лозунг: «Все для фронта, все для победы!» За стол усадили бойцов, приехавших с фронта, у них ордена и медали. На них были наведены театральные прожекторы, и какой-то человек с трибуны говорил о том, что фронту нужна помощь, если мы фронту поможем, то и война быстрее кончится. Потом вышел военный и призвал собрать средства на эскадрилью имени Ивана Черных, который направил горящий самолет на вражескую колонну и героически погиб.

Все начали вставать с мест, подходили к столу президиума, клали на этот стол деньги, один военный сначала в ведомость их записывал, потом бросил карандаш и руками развел. Деньги, облигации клали уже на край сцены, так как на столе президиума места не осталось. Сидевшая рядом женщина вдруг повернулась ко мне:

— Мальчик, помогите мне снять сережки.

Я глянул на нее — ба, это та клиентка, которой я бынинскими руками «гробик» отремонтировал! Я почувствовал, как щеки у меня запыхали, даже уши, наверное, стали красными. А она, видимо, поняла мое смущение по-своему :

— Вы не стесняйтесь, мальчик, я бы сама их сняла, но там так устроено, что самой почти невозможно, долго придется возиться.

Да, действительно, дужки у сережек хотя и тонюсенькие, из золотой проволоочки, но внутри полые, и там еще пружинки вставлены. Старинная работа, теперь таких не увидишь. Надо на этой проволочке ногтем нащупать выступ и отвести, тогда пружинка отойдет и проволочка разомкнется. Я это осторожно проделал, стараясь не поцарапать нежное ушко женщины. Одну сережку вынул, вторую. Женщина попросила:

— Теперь будьте так добры, отнесите их туда. Я положил сережки на ладонь, пошел потихоньку к сцене, не дай бог уронить, и передал в руки военному:

— Вы с ними осторожнее, в бумажку какую-нибудь заверните.

Он на меня зыркнул, но послушался, бережно завернул сережки в бумажку и присоединил к тому, что на столе.

Когда я вернулся на место и сказал своей соседке, что просьбу ее выполнил, она вздохнула:

— Это ж, мальчик, бриллианты чистой воды...

Нашла кому объяснять! Да я лет с пяти наблюдал ювелирную работу в мастерской. И когда нес эти сережки, то, конечно, обратил внимание на огранку бриллиантов... На верхних гранях «короны» — это так огранка называется — вспыхивали сине-фиолетовые искры, а внутри еще зеленое и красненькое просвечивало. Старые гранильщики могли так «набить» алмаз светом, что он светился самыми различными огоньками, эти секреты сейчас утеряны, вот почему старинные бриллианты так переливаются и так дорого ценятся.

Женщина объяснила:

— Моя прабабушка вышла замуж за польского повстанца из дворян, он сюда был сослан. Эти сережки у них фамильные. Он сказал прабабушке, когда умирал от чахотки, чтобы сережки она ни в коем случае не продавала, чтобы они передавались в нашем роду от женщины к женщине. Все так и было, но теперь...

А сама чуть не плачет. Потом сказала:

— Мальчик, я вас сразу узнала, это ведь вы мне так замечательно часики отремонтировали, идут секунда в секунду.— И тут она сняла свой швейцарский «гробик», подала мне: — Милый мальчик-мастер, отнесите туда и это.

Я поколебался было, но взял, понес, И думал я про этого польского повстанца: мог ли он представить, куда его сережки пойдут? Положил ее часы на сцену, в общую кучу, вернулся, а она спросила:

— Как вы думаете, этого хоть на одно крыло самолета хватит?

Откуда мне знать, сколько стоит самолет, да еще боевой, это вообще, может, военная тайна. Но я ее успокоил: — На половину точно хватит, даже чуть больше половины...

И тут меня такое горе взяло! Что я за никчемный человек? Пришел на актив и не могу ни копейки добавить в фонд будущего боевого самолета! Были б у меня сейчас отцовские часы с «Марсельезой», я б их туда, наверное, положил. Ни денег, ни драгоценностей, даже собственных часов до сих пор нет, как говорится, сапожник без сапог. Я бы мог, конечно, себе какие-нибудь часы из старья собрать, но все было некогда: старался план выполнить.

Правнучка польского повстанца наклонилась ко мне:

— Мальчик! О чем вы задумались? Уже за резолюцию проголосовали и сейчас в буфете будут галеты продавать, по двести граммов каждому.

Но в буфет я не пошел, из театра направился прямо в мастерскую. Сел за верстак, с хорошим настроением взялся за ремонт. Вскоре Штаневич из больницы пришел. Рука у него давно зажила, но он все в больницу ходит, требует, чтобы руку облучали, мазали мазями, он, мол, часовщик, у него пальцы должны иметь особую чувствительность.

Я был под впечатлением митинга, стал о нем рассказывать Штаневичу. Он слушал-слушал и заявил:

— Все это, понял, хорошо. На актив тебя, понял, послали — замечательно! А что ты в передовиках ходишь, а сам, понял, клиентам часы ломаешь, настроение портишь — ато плохо!

Я опешил:

— Вы факты приведите: когда, какие клиенты на меня обижались?

Штаневич прищурился:

— Часы деревянные кто ремонтировал? Во время твоего отпуска старушка раз десять приходила. Интеллигентная, понял, старая женщина, ходить ей тяжело, а она такую даль из-за тебя... Часы у нее после твоего ремонта бьют как попало... Передовик, понял, нашелся!..

Я сложил инструменты в фанерный чемоданчик и побежал на Воскресенский взвоз. Мороз жег уши, ресницы у меня закуржавели, но я ничего не замечал. Что же там в этих часах

случилось? Ведь я все правильно сделал, рычаг новый выточил, отрегулировал его хорошо, часы били правильно. Да, неудобно перед Ариадной Амнеподистовной. Но я ведь не знал, что она приходила, а Штаневич до сегодняшнего дня ничего не говорил.

Мне пришлось долго колотить львиной лапой по львиной голове. Ариадна Амнеподистовна что-то не выходила. Может, спать легла? Но тут заскрипела лестница, слышно было, что кто-то спускался. Открыл мне незнакомый человек. Подозрительно осмотрел меня и спросил:

— Чего тебе?

— Ариадну Амнеподистовну надо. Старушка тут жила.

— Умерла она,— сказал незнакомец,— с месяц, пожалуй, как умерла. Теперь мы тут живем... А ты что, родственник ей?

— Нет,— ответил я машинально,— знакомый.

Не по себе мне стало. Как же так? Я старался хорошо отремонтировать часы, а вышло так, что Ариадна Амнеподистовна перед смертью недобрым словом меня вспоминала. Эти часы неправильно били, и она, наверное, плохо обо мне думала. И с этой мыслью так и ушла в могилу. И исправить теперь ничего нельзя. Она мне Мопассана подарила, а я... Не удосужился зайти, проверить свою работу...

Мужчина посмотрел на меня, сказал:

— Да ты озяб вроде, хоть и февраль, а холода. Зайди, погрейся.

Я поднялся за ним по лестнице. Да, февраль... Вспомнилась открытка, на которой южный февраль изображен, вспомнилось, как мы с Витькой чаем у Ариадны Амнеподистовны угощались. Эх! Ничего вернуть нельзя! Нельзя ничего исправить...

Из старушкиной мебели в квартире не осталось ничего. Не было книг, альбома с открытками, не было деревянных часов.

Новый хозяин квартиры оказался картонажником. Он поставил мне стул возле печки, а я все глазами часы искал. Может, в кладовку вынесли? Мне хотелось узнать, в чем же причина плохого боя? Может, пустяк какой? Я спросил картонажника:

— А мебель старушкина где? Какие-нибудь родственники забрали? Книг у нее много было...

— Нет у нее ни одного родственника, очень древняя старушка была, всех пережила, никого не осталось. Последний, как говорится, из могикан...

— Куда же мебель делась, книги?

Картонажник сказал, что книги она завещала городской библиотеке.

— А мебель? — не унимался я.

Мужчина смущенно покашлял и объяснил, что мебель была древняя, вся жучком источенная, ее он помаленьку изрубил на дрова.

— А часы? Были тут у нее часы такие старинные, в завитушках, с боем?! Неужели тоже — на дрова? Картонажник успокоительно сказал:

— Нет, зачем же? Разве мы не понимаем? Вещь все-таки. Конечно, часы были тоже негодные, они били у нее по-сумасшедшему, надо час пробить, они бьют десять, надо двенадцать пробить, а они бьют три... Я жене велел их на толкучке на продукты сменять... Почти задаром отдала, за стакан крахмала...

Вышел я из этой квартиры, как оглушенный. Эх, мастер! Мастер, называется! Может, наладь я Ариадне Амнеподистовне часы по-настоящему, она бы еще пожила. А так... часы эти ее расстраивали, спать не давали. И в чем причина плохого боя — теперь уже установить нельзя. Часов нет.

Я шел, сам не знаю куда, а потом вдруг обнаружил, что ноги сами несут меня к городской библиотеке. Не обманул ли картонажник? Может, он и книги на топливо пустил?

Вошел я в библиотеку. Там хотя холодновато, но чистота, порядок. Книжки ровными рядами по полкам выстроены. Тишина. Вон — старые книги, с золотым тиснением. Взял я с

полки одну, раскрыл — так и есть! На внутренней стороне обложки штампик: «Из книг А. А. Эндельман-Козельской».

Мне было все равно, какую книгу брать, лишь бы с этим штапиком. Выбрал я «Дон-Кихота». Возможно, Ариадна Амнеподистовна ее еще в детстве читала, девочкой.

Иду с книгой в руке, а сам про Эндельман-Козельскую думаю. Какой длинной была ее жизнь! Сколько пережито разного! И вот — нет ее, кто о ней вспомнит!

И вдруг я осознал: пока я помню Ариадну Амнеподистовну, она вроде как не совсем умерла, и книги ее живут, по вечерам с людьми о многом разговаривают...

19. ВАМ ТЕЛЕГРАММА!

Лед прошел, вода в Ушайке сильно прибыла. Люди говорили, что далеко на севере лед еще стоит, воде некуда деваться, она из Оби обратно к нам в Томь прет, а из Томи — в Ушайку. Ничего. Вода все-таки пробьет себе дорогу, размочит, подточит льды, и в один прекрасный день выйдет к океану. Та самая вода, которая бежала в нашей Ушайке, будет океаном, будет огромными валами, тучами брызг...

Я ходил на базар и у одной старушки чуть ли не задаром купил морковку и дряблую свеклину. Карманы телогрейки оттопыривались, там мой будущий борщ лежал. Я спешил домой. На Заливной улице все тополя по колена в воде стояли. Правильно улицу назвали: ее всегда в половодье заливают. Тополя здесь первые покрываются листвой, а когда сойдет вода и жидкая грязь покроется корочкой, бурно прет трава — сочная, высокая, яркая! Недаром на тут всегда коровы пасутся, тоже понимают, что к чему.

Я быстро взбежал по лестнице, влетел в комнату, выложил на стол принесенное богатство и увидел на лице матери слабую улыбку. Приятно ей было видеть овощи, купленные на мои деньги. «Погоди,— подумал я,— сейчас очищу картошку и свеклу, борщ сварганю, ты у меня еще не так заулыбаешься».

Я снимал с картошки тоненькую, как папиросная бумага, кожицу специальным материнным ножом и видел, что она следит за моими руками. Попробуй я где-нибудь слой срезать толще, сразу перестанет улыбаться и так отчихвостит — не поверишь, что больная.

Кропотливое дело — борщ, а главное — долгое. Все равно, что искалеченные часы починять. Тут спешить невозможно. Чтобы скоротать время, нужно рассказывать что-то. Про Щучье я уже все рассказал, теперь рассказываю о том, что видел сегодня на Заливной. Про огромное зеркало воды, листочки и прочее.

— Да-а! — задумчиво сказала она. — Там мы с твоим отцом медовый месяц прожили. И вода как раз большая была... Говорить ей было трудно, дышала тяжело, но улыбалась.

— Мам, а что такое медовый месяц? Почему так говорят?

Глаза у нее с лукавинкой, как раньше бывало, у здоровой:

— После свадьбы полагается целый месяц мед есть, вот мы и ели.

Понял я, конечно, что она шутит, ну пусть, лишь бы ей было весело.

Вошел Прасковьев, переминается у порога с ноги на ногу, вид у него был какой-то необычный, торжественный, что ли. Руки он держал за спиной, и я понял, что он принес письмо. Почтовый ящик рядом с их дверями, и Фаддей Зиновьевич теперь от нечего делать всем жильцам нашего дома разносит корреспонденцию. Я подумал: вдруг письмо от отца?! А потом испугался: вдруг похоронка?

Подошел к Прасковьеву, осторожно заглянул ему за спину. Он расплылся в улыбке:

— Телеграмма вам, она распечатана, так я прочитал...

Выхватил я у него бланк, а буквы в глазах прыгают. От дяди! Хорошая телеграмма! Такую можно и матери прочесть:

«Встречайте завтра в час дня зпт на вокзале зпт с Дергуном и фазтоном тчк ваш Петро Коруна тчк».

Мать, несмотря на болезнь, совсем развеселилась:

— Узнаю Петьку по почерку. Всегда хлестун был, таким и остался. Фаэтон ему, видите ли, потребовался. А того не знает, что ни фаэтона, ни Дергуна и в помине нет...

— Это уж точно,— поддержал ее Прасковьев.— Петя ваш шик любил завсегда. А Дергуна нету — точно, и фаэтона, и кобылы...

А во мне тогда опять зазвучал проклятый мотивчик: «Кобыла ваша околела!» Но это от радости, что дядя Петя возвращается. Насовсем или только в отпуск? Чтобы ему инвалидность дали, как тете Шуре,— этого и представить нельзя, у него нервы не расшатаются! Весь в орденах, должно быть.

Мать сказала в раздумье:

— Ты вот что... сходи к тете Наде, скажи, чтобы завтра с тобой на вокзал шла... Впрочем — не надо... Ай, да чего там! Сходи. Пусть сами решают, как им лучше.

Было одиннадцать утра. Я заторопился. Надо привести себя в порядок. Я кинулся умываться, причесываться. Надо было погладить свои единственные брюки, они всегда на мне — потому сильно помяты. Углей для утюга теперь нигде не достанешь, но я научился отлично раскалывать утюг щепочками. Сейчас на солнышке во дворе вытаяли возле сараев щепки от тех дров, которые рубили еще, может, до войны. Некоторые щепочки совсем сухие, собирай, напихивай в утюг. Они горят, течет смолистая сизая струйка. Надо только соблюдать осторожность, щепки все же — не угли, из утюга сыплются искры.

В комнате стало дымно. Но мать терпела, понимала, конечно, что я хочу встретить дядю в приличном виде. Она и сама встала с кровати, взяла половую тряпку, намочила и как-то боком, стоя на коленях, начала протирать пол. Посмотрит на этот пол, вздохнет, сделает круг тряпкой, еще вздохнет. Тяжело ей. Я говорю:

— Ты погоди, я брюки поглажу — сам вымою!

— Разве то пол стал? Срам один!

Я-то помню, как она до войны пол красила. Сначала чисто вымоет доски с мылом и скипидаром, потом мы все бугорки ровняем мелкой наждачной бумагой, целый день по полу ползаем, промазывая каждую щелочку шпаклевкой, которую мать сама изобрела. Олифу варим на примусе из кедрового масла, краску растираем, сто потов прольем. Затянем окна марлей, и мать широкой кистью размеренно прохаживается по доскам. Просохнет пол, она его вымоет и выкрасит на второй раз уже жиденькой краской и кистью помягче. И комната кажется чистым прудом с желтым песчаным дном. А за два военных года мы не только ни разу пол не красили, но прямо в комнате зимой рубили дрова: то стул раскромсаешь, то доску какую-нибудь, на улицу выйти уже и сил нет. Стал пол щербатым, грязным, теперь его ничем не отмоешь...

Ай! Я на мать засмотрелся, большая искра прожгла мне в брюках дыру. Вот так встретил дядю в приличном виде! Что же теперь делать? Мать молча взяла у меня брюки и стала поспешно пришивать заплату, а я принялся домывать пол. Теперь придется встречать дядю с заплатой на штанах. Я быстро оделся, побежал к Банковской. Показал ей телеграмму. Она села на стул посреди кухни, задумалась.

— Не знаю, стоит ли мне идти? — спросила тетя Надя, как бы сама себя.

— До поезда остался час, идти до вокзала через весь город,— сказал я ей.— Если сейчас выйдем, и то можем опоздать.

Тут она вскочила, кинулась к зеркалу, начала орудовать расческой. Надела новый жакет. А потом вдруг опять на табурет села:

— Нет, я, наверное, не пойду...

Вот женщины. Семь пятниц на неделе! Я сказал:

— Задерживаться мне больше нельзя. Извините! — и выскочил в дверь. Только до Ушайки добежал, слышу сзади топоток. Оглянулся — тетя Надя бежит. Запыхалась. Я пошел шагом и все боялся из-за нее опоздать. Но пришли мы на вокзал рано, до поезда оставалось еще целых полчаса. Я стал оглядываться по сторонам. На вокзале былолюдно. Сидели на грязных

залатанных мешках изнуренные пассажиры. У кипятыльника стояла длиннющая очередь. Какой-то дядька отхлебнул из чайника и заругался:

— Рази это кипяток! Чуть воду подогрели! Этому кипятыльщику шею набить!

Кипятыльщик, парнишка моих лет, высунул косматую голову в окошечко:

— Умный какой! Шею! Дров мне дают вязанку на смену.

И все пьют и пьют день и ночь, как верблюды! Где ж я этой вязанкой накипачу воды на такую прорву! Подогрел, чтоб зубы не ломило, спасибо скажи...

И тут я заметил за столбом Витьку Кротенко. Он стоял и смотрел в -нашу сторону.

— А ты кого встречаешь? — спросил я его.

— Да так, никого, — немного смутился Витька. — Я к вам заходил, мне твоя мать сказала, что Петр Иванович приезжает. Любопытно взглянуть...

— Что ж, взгляни, — разрешил я. Понятно было, что Витька по отцу тоскует. Отец у него тоже на фронте, и, конечно, ему хочется, чтобы он поскорее вернулся. А нет — так хоть посмотреть, как другие домой приезжают.

Поезд подошел к станции, мы стояли на перроне, и вдруг тетя Надя закричала и ринулась к подножке. Тут мы тоже заметили дядю Петю в тамбуре вагона. Я сначала подумал, что он стал на коленки. Для чего это? Но тут же я понял, что он вовсе не на коленках стоял, — у него нет .обеих ног, а на руки надеты на ремешках маленькие брусочки.

Я немало уже видел в Томске инвалидов, которые передвигались с помощью таких брусочков. Мне было их жалко. Но то — чужие люди. А это мой дядя, мой героический, храбрый, драчливый дядя! Нет, это ошибка, это сон, этого не может быть! Я зажмурился. Вот сейчас открою глаза, а дядя спрыгнет с подножки и подойдет к нам своей матросской, чуть враскачку походочкой. Я открыл глаза, но все осталось по-прежнему. И тетя Надя с каким-то военным помогли дяде слезть на перрон. Тетя Надя целовала дядю, плакала, а мне хотелось бежать, бежать, куда глаза глядят. Дядя поманил меня пальцем:

— Ты что же, племяш, вроде моему приезду не рад? И где же фаэтон, я же заказывал, телеграмму давал.

Я сказал, что очень рад его видеть. А фаэтона нет. И тут я подумал о том, как же теперь дядя будет добираться до дому? Не на брусочках же ему скакать? Автомашин на вокзале нет. Я смотрел на привокзальную площадь, но и там не было никого транспорта. Хоть бы один какой-нибудь крестьянин с телегой появился. Но теперь и в колхозах лошадей почти нет, на коровах пашут, а в городе лошадь раз в году встретишь и то случайно.

Я увидел у вокзала высокую худую девушку, она стояла ко мне спиной, и плечи ее мелко-мелко тряслись. Она обернулась, и я узнал Верку Прасковьеву. Она с ужасом смотрела на моего дядю и рыдала.

Нельзя было дядю долго оставлять на перроне в таком положении, и придумать я ничего не мог.

И вдруг прямо к перрону подкатил единственный в городе красный пожарный автомобиль. Пожарники с него кубарем слетели, тянут брандспойты и кричат:

— Кто звонил? Где горит?

В этот момент к ним подошел Витька — бледный, дрожащий — и сказал пожарникам:

— Т-товарищи! Эт-то я...

— Что ты? — уставился на него главный пожарник. —

Ну, отвечай!

— Я звонил...

— Ну, — сдвинул брови пожарник, — и где же горит? По какому случаю звонил?

— Н-не гор-рит, — сказал Витька, заикаясь, — то есть, вроде бы, срочное дело, оно горит, а так не горит...

— Горит — не горит! — Вконец рассердился пожарник. — За такие шутки в военное время знаешь, что бывает? — и ухватил Витьку за шиворот. Витька затрясся от страха, но показал пожарному на дядю Петю:

— Вот... из-за него я... Не на чем ему до дома добраться.

— А кем он тебе-то приходится? — смягчился пожарник,

— С-соседом! — всхлипнул Витька.

— Н-да! — сказал пожарный начальник. — Дать бы тебе по шее... — И обернулся к дяде: — Садитесь, товарищ, хотя и не положено на нас ездить, вы, как фронтовик, должны бы понимать... — Он покосился на Витьку: — А тебя надо бы в милицию отправить.

Витька потупился. Но пожарники не стали отправлять его в милицию. Мы все уселись рядом с пожарниками на скамье. Автомобиль покати к нам на Ямскую. Витька мне по дороге рассказывал, как он сообразил пройти в дежурку и позвонить в пожарную часть. Я вот растерялся и ничего придумать не мог, а он сообразил.

Мать, увидев дядю, заплакала. Тетя Надя села к ней на кровать, и они стали плакать вместе. Дядя слушал-слушал потом стукнул кулаком по столу:

— Хватит! Как пожарные сирены! Рано меня отпевать! Живой я. Это главное... Каждая моя нога фашистам в пятьдесят фрицев обошлась... баланс...

Пришли к нам соседи. Явились старики Прасковьевы и принесли сохранившуюся с довоенного времени бутылку наливки, а Верка не пришла. Дядя о ней и не спрашивал. Тетя Надя подливала ему в стакан, а он пил молча и все о чем-то думал. Удивительно стал серьезным. На груди — орден и две медали, а не хвастает.

Мне хотелось дядю как-то развлечь: я рассказал ему, что в лесу за Томью возле детского дома стоит бюст Дюма-отца, что дядя, если хочет, может посмотреть на него в любой день. Он отмахнулся:

— Что — бюст! Грехи молодости! А к детишкам вправду не мешает съездить... Может, фокусы им показать, руки-то у меня еще действуют! О фронте им рассказать, о том, как люди гибнут за то, чтобы они росли и жили на свободной земле, чтобы счастье у них было.

Когда гости ушли, дядя с матерью о чем-то шептались. И я не слышал, что говорила мать, а слышал некоторые дядины слова:

— Большой уже... надо сказать... все равно узнает от других... Я сам скажу...

Дядя подозвал меня, обнял сильной рукой:

— Ты вот что... Я видел войну... бывает такое дело, когда легче умереть, чем отступить. Так под Москвой, например, отступить было некуда... Тысячи хороших людей погибли, но не отступили... Вот и отец твой... Погиб. Была «похоронка» месяц назад, да мать не хотела тебе говорить. Впрочем... да ты не реви, не реви! Возможны всякие ошибки. Надо ждать, надо верить. Ну, а если и погиб, надо быть его достойным. Не зря погиб, за Родину голову сложил.

Все закружилось у меня перед глазами, и слезы текли сами по себе.

Тогда дядя на меня прикрикнул:

— Не барышня ты ведь! На моих глазах много погибло людей! Прекрасных, замечательных! Надо о них помнить. Надо жить и за них, а не реветь белугой! Я с вами. Мать у тебя есть. Надо о ней заботиться...

Не помню, как я уснул в тот вечер. Во сне мне улыбался отец, а я все боялся забыть его улыбку, мне хотелось запомнить ее надолго, навсегда. И видел я за спиной отца Москву-столицу и Спасскую башню с самыми главными часами страны — курантами. Куранты били торжественно, громко, их звон пронизывал меня насквозь. Слышал я еще, как по всей стране курантам отвечают боем тысячи разных часов. И среди них я различал звон деревянных часов Ариадны Амнеподистовны и мелодичное позванивание отцовских часов. Потом загрохотал бой, заметались языки пламени, дым застал округу. Но снова торжественно ударили куранты, и все звуки как бы померкли, и дым рассеялся, и стало светло, ослепительно светло. Я вздохнул и открыл глаза. Мать отдернула занавески.

20. ЧАСЫ ГОВОРЯТ: «ТАК!»

Вновь теплынь на дворе. Я распахнул окна в сад, и упиравшиеся в стекла тяжелые кисти черемухи распрямились, хлестнули меня по лицу, оно покрылось горьковатой ароматной влагой. Я утерся полотенцем — теперь и умываться не надо.

Поет в саду у Штаневича невидимая птица. Кричит на улице старик-точильщик: «Нажжи, ножжницы тач-чу!» Это что-то новое. С самого начала войны ни одного точильщика не видели мы на нашей улице. Нечего было резать ножами и ножницами. А теперь вот появился...

Мать тоже проснулась, но она уйдет на работу немножко позже, чем я. Мне надо еще зайти за дядей Петей. Он теперь живет у тети Нади Банковской. Породнились мы все-таки. Свадьба была тихая, незаметная. Так дядя распорядился. Выпили гости одну бутылку вина и разошлись, а дядя в инвалидной коляске поехал на новое место жительства.

Верки Прасковьевой на свадьбе не было. Она теперь выросла длинная-предлинная, ходит в военной форме, работает старшей медсестрой в военном госпитале. Важная стала. Со мной вслух не здоровается, только кивает слегка.

Я выхожу на крыльцо. Солнце светит по всей Ямской, поблескивает в Ушайке. Пахнет тиной, водой, свежестью. На лавочке сидит бабка Федоренчиха, в стеклянной банке у нее плавают в воде аппетитные комочки серы.

— Берите, милашки, по рублю комочек, сера лиственная, сладкая! — певуче выкрикивает Федоренчиха. Но покупателей немного. Подбежит мальчишка, сунет бабке в руку горсть мелочи, схватит серу, умчится. Бабка продолжает выкрикивать. Она ничуть не изменилась, дальше стариться ей уже некуда, вот она и осталась такой же, как была.

Дядя Петя и без ног боевой, неугомонный. Тетя Надя сначала боялась за него. У него есть пистолет — именной, с гравированной надписью, подаренный командиром части. Когда дядя переехал к Банковской, она заперла пистолет в комод, а ключ спрятала. Дядя сказал ей по этому поводу:

— Глупышка! Шлепнуться и там я мог, после госпиталя, Очень надо!

С первых же дней он начал ремонтировать особняк Банковской. Как-то ухитрился влезть на лестницу, пилил, прибивал доски. Ограду всю обновил. Сделает, отъедет на своей коляске, любителю:

— Так и здоровому не сделать...

А сам между тем писал письма военкому и на фабрику протезов. Одна культя у него несколько длиннее другой, так он решил к ней приспособить протез и научиться ходить на костылях. И вот сделали ему протез по особому заказу, военкомат в этом помог. Больно было дяде, когда он впервые пошел на культе и на костылях. Но он только ругался чуть слышно и продолжал свои тренировки. К теплу уже стал ковылять. Мы даже однажды в выходной сходили с ним вместе на базар. Правда, по дороге он несколько раз садился на лавочку, отдыхал. Я должен был на толкучке себе купить ботинки, а еще я надеялся, что, может, случайно туда принесут часы Эндельман-Козельской. Ботинки мы купили, а часов на толкучке не было. Мы уже хотели идти обратно, когда заметили в углу базара, в том месте, где когда-то Дюба в свою веревочку обыгрывал простаков, заманчивую надпись: «Цирк».

Вот это да! Опять у нас в городе цирк появился. Только цирк этот странный: палатка вроде цыганской, туда больше двадцати человек не поместится.

Мы обошли палатку кругом. У заднего входа ругались два человека; увидели нас и юркнули в палатку. Тут и звонок прозвенел.

Мы купили билеты и пошли через главный вход в этот необыкновенный цирк. Никакой арены нет, вместо скамеек несколько длинных досок на пеньки положены, а перед ними — небольшое возвышение, вроде эстрады, наспех сколоченное из необструганных досок. Двое,

которые только что ругались позади цирка, установили столик, а из него женская голова высунулась. Пожилой дядька прокашлялся и объявил:

— Единственный в мире уникальный номер — живая голова!

Стал он этой голове разные вопросы задавать: сколько ей лет, как она себя чувствует и все такое. Спросил:

— Скажите, вы еще не замужем? А голова хриплым голосом отвечает:

— Никто не берет!

Дядька повернулся к публике:

— Скажите, нет ли среди вас желающих на ней жениться? — и захохотал, как сумасшедший. Среди публики тоже два-три человека захихикали. А чего смешного? И разве я не вижу, что столик этот зеркалами обставлен? Женщина за зеркалами сидит, голову в дыру высунула. Разве так этот номер делать надо?! Я видел такой номер в настоящем цирке, там столик закрыт черным бархатом, и зеркала установлены так, будто под столиком пустота, а здесь все заметно. Может, только простачки деревенские ничего не поняли, а нам с дядей все ясно. Ладно. Утаскивают они эту глупую голову обратно, и мы из вежливости немножко им хлопаем в ладоши, думаем, может дальше лучше будет. И тут выходит другой дядька, помоложе, и выводит на верёвочке облезлую тощую обезьянку. Она вся дрожит от холода, озирается, рвется со сцены обратно за кулисы. А он тянет изо всех сил. Вытянул на середину, кудри себе пригладил и говорит:

— Обезьяна макака, зовут Яшка, питается хлебом, овощами, очень любит орехи, конфеты, сахар. Желающие могут угостить обезьянку, и вы сами убедитесь, что она ест.

Кто-то дал ей пряник, и она его съела.

А кудрявый этот:

— Не стесняйтесь, граждане публика! Давайте еще! И тут могучего вида мужчина басом сказал:

— Ты лучше покажи, что она умеет! Жрать — это и без дрессировки можно, ты меня на сцену выведи, дай мне кирпич хлеба, я тоже его за раз проглочу, без всякой тренировки!

Кудрявый взъерепенился:

— Вы темный, некультурный человек! Вы не знаете, что такое искусство! Представление окончено!

Тут дядя Петя подковылял к сцене и крикнул:

— Нет, не окончено!

Кудрявый поморщился:

— Не хулиганьте, гражданин! А дядя ему:

— Еще неизвестно, кто из нас хулиганит! Ты глупее своей макаки! Вот смотри! — и достал у кудрявого из-за уха красный шарик. Потом он проглотил этот шарик, начал его обратно выдавливать, и у него изо рта вылезло штук двадцать шариков, один за другим. Публика ревела от восторга, она думала, что это программой предусмотрено. А дядя разошелся — не остановишь. Достал бритвенные лезвия и начал глотать. Проглотил целую пачку, а потом изо рта ниточку потянул и все лезвия оказались к ниточке привязаны.

Я понимал, что в настоящем цирке дядю с такими фокусами и близко к манежу не подпустили бы, а здесь он имел успех.

Публика расходилась. Дядя устало прислонился к дощатой переборке, а кудрявый, и пожилой, и женщина, голова эта самая, — все стали руку дяде жать. Старший предложил ездить вместе с ними и сказал, что они его материально не обидят. Но дядя Петя только сердито взглянул на него:

— Если бы у меня ноги были, я бы без вас нашел дорогу на манеж.

И мы гордо удалились из этого халтурного цирка. Потом дядя несколько раз выступал с фокусами для детдомовцев. Больше всех хлопал ему Петя Воронов. Он говорил, что обязательно сам станет фокусником. Дядя рассказывал детдомовцам о своих делах в

разведроту. О том, как он брал «языка» и один немец стал ругаться на чистом русском языке. Дядя в долгу не остался, оказывается, он на фронте научился ругаться и на немецком, и на итальянском. И когда он ответил тому нахальному фашисту первоклассной немецкой руганью, тот сразу умолк от изумления и шел в плен уже безо всякого сопротивления.

Дядя, конечно, заметил, как пристально смотрели мальчишки на его протезы. Рассказал о том, как сутки провел в нейтральной зоне, раненный в обе ноги. Дядя потерял много крови, ног уже не чувствовал, и тому же был сильный мороз. Ползти не было сил. Тогда он стал намечать себе, рубежи. «Вот доползу до той березки». Доползет, полежит и намечает новый рубеж. Так и выполз к своим.

Дядя сказал ребятам, что и в жизни надо так же намечать рубежи и, как бы ни было трудно, достигать их.

— Ваши рубежи, ребятки, это сейчас учеба и хорошее поведение. Я знаю, как трудно себя хорошо вести. Сам беспризорничал. Трудно, но надо, вот и достигайте своих рубежей, шагом, ползком, только двигайтесь, тогда не погибнете...

Кто бы мог подумать, что дядя не только веселый человек, но еще хороший агитатор?! А он, оказывается, и это может. Мать говорит, что после его беседы детдомовцы стали вести себя намного лучше.

Вхожу во двор, где стоит терем. Тут тоже зелено, но черемух мало, больше — тополя. На крыльце сидит дядя Петя и стучит молотком, налаживая перила. Возле него лежит наш Маркиз. Тетя Надя забрала его из столовой.

Дядя просит поддержать доску. Загоняет в нее несколько гвоздей, спрашивает:

— Ты завтракал? — и кричит тете Наде: — Вынеси-ка нам рыбного пирога!

Мы выходим со двора. Дядя ковыляет и напевает:

Папа рыжий, мама рыжий

И я рыжий сам!

Вся семья моя покрыта

Рыжим волосам!..

Поет он на мотив из американского кинофильма, и в его пении и гнусавый саксофон слышится, и барабан. Верно Штаневич про дядю говорил, что он — великий артист. Дядя рассказывает содержание американского фильма, из которого эта песенка, и говорит:

— Люблю... веселый народ. Все у них в фильмах глупо, но все смешно... Жаль только, что ихнее правительство со вторым фронтом тянет. Привыкли чужими руками жар загребать...

Мы вышли сегодня пораньше, потому что должны до начала работы расклеить несколько объявлений. Мы их расклеиваем каждый день на разных улицах. Это дядина затея. Я ему рассказал про Эндельман-Козельскую и про ее часы. Рассказал, в каком неоплатном долгу перед ней остался. Дядя меня сразу отлично понял. Он предложил расклеить объявления. Я достаю очередную бумажку, обмакиваю в банку с клейстером, которую держит дядя, и прилепываю к фонарному столбу:

К сведению граждан Томска. Мастерская «Точмех» ищет старинные деревянные часы с боем, проданные на толкучке за стакан крахмала. Нашедшему — приличное вознаграждение.

Дядя говорит, что приличное вознаграждение каждый может понимать по-своему. Лишь бы часы принесли, а там видно будет, чем за них рассчитываться.

На улице Ключевской спуск такой крутой, что мне приходится поддерживать дядю. Внизу бревенчатый круглый сруб, в котором зимой и летом вода бурлит, словно кипит.

— Смотри-ка! — говорит, дядя. — Батеньковский ключ до сих пор действует,

Да, когда после многолетнего заключения декабриста Батенькова сослали в Томск, он сумел весь город напоить чистой, ключевой водой. И как он догадался, где землю прокапать?

Вспоминаю фигурку узника, которую я видел в нашем городском музее, ее тоже декабрист выточил. На руках узника цепи надеты, и все — из одного куска дерева. Как скульптор сумел звенья этих цепей вырезать, что они друг в друга продеты — ума не приложу. Мы с Витькой и так и сяк прикидывали — непонятно. Умели люди делать такое, чтоб память о них оставалась.

На центральном проспекте студенты снимают рельсы. Все! Больше здесь не будет коптить паровоз. Война еще не кончилась, а уже наводят порядок. Самое трудное время миновало. Досталось людям, досталось и проспекту. А Батеньковский мост не провалился, выстоял, это Витька верно предсказал.

Проходим мимо развалин цирка. Дядя вздыхает:

— Помнишь труппу Кадыр-Гулям? Акробаты на верблюдах?

— Помню, а что?

— Да, ничего... Я когда униформистом был, верблюдов чистить помогал. Там в меня одна узбечка влюбилась... Едем, говорит, в Ташкент, у меня, мол, там в саду персики и бассейн. Я, знаешь, даже халат ихний и тюбетейку примерял. Все говорили, что мне идет...

Еще бы! Моему дяде что хочешь, пойдет! Я ему об этом говорю, а он опять вздыхает:

— Эх, ничего ты еще не понимаешь!

Неподалеку от мастерской на столбе сидит Садыс, обхватил столб монтерскими когтями и проволоку крутит плоскогубцами. Он с этими когтями, как коршун.

— Доброе утро, Петр Иванович! — говорит Садыс. — Разрешите папиросочку? — Наклоняется и протягивает руку.

— А не позеленеешь — с таких лет курить? — спрашивает дядя.

— Не-а! — отвечает Юрка. — Мне не курить нельзя, работа нервная. Напряжение... две фазы...

— Да ты ж телефонные провода тянешь! При чем тут фазы? — смеется дядя.

— Индукция! — не сдается Садыс. — Иногда крутанут ручку и тебя ка-ак даст! Постоянный ток хуже переменного!

— Петр Иванович! — кричит он. — Хотите, я вам домой проведу телефон? Бесплатно, как герою войны? Нет, правда?

Дядя смеется. Садыс смеется, обняв столб. Мне, конечно, хочется, чтобы у дяди был телефон. Но я мало верю Садысу. После всего, что он натворил, еще к моему дяде в доверие втирается. Я уже рассказывал дяде об всем. Почему же он так снисходителен к этому типу?

Дядя Петя на мой вопрос отвечает:

— Зеленые вы еще. Впереди дней у вас много, из вас еще кто угодно может получиться. Думаю, и он не такой уж конченный человек. А Дюбе я, конечно, с удовольствием наkostenял бы по шее. Может, еще доведется.

Входим в мастерскую, Андрон заискивающе здоровается:

— Доброго здоровья, Петр Иванович, доброго здоровья, Николай Николаевич!

Ишь ты! По имени-отчеству меня назвал! Чго это он сегодня такой добрый? А впрочем, неудивительно. Я ведь теперь тут за приемщика. Бынина нет, дядя еще плохо часовое дело знает, а Андрон никогда его по-настоящему не знал. Вот и поручили мне принимать. Нелегко мне. Ответственность большая. И еще приходится дяде и Штаневилу помогать, если они что сломают. Дяде-то я охотно помогаю, а Андрону... Но он в последнее время стал такой тихий, задумчивый,

Я когда-то читал в одной книге, что если чего-то сильно и долго хотеть, то это рано или поздно обязательно появится. Так и с Андроном вышло: он очень хотел иметь язву желудка, и она у него, действительно, появилась. Правда, врага давно разбили под Сталинградом, а теперь уже почти со всей нашей территории выгнали, значит, война скоро кончится и язва Андрону вряд ли пригодится. Но теперь она у него есть и постоянно мучает. Он даже здорово похудел. Часто за живот держится и ноет.

Сейчас он с жалобным лицом подходит к моему верстаку:

— Николай Николаевич! Помогите. Этого никто не сможет во всем Томске, кроме вас. Часы у меня бьют неправильно. Я вот снял гребенку, посмотрите, понял.

Я беру гребенку... Что такое? Гребенка боя из самшитового дерева. Гребенка от часов Эндельман-Козельской! А мы-то с дядей объявления клеили!

Я Андрону популярно все про старушку объясняю. Я говорю ему, что часы нужно доставить в мастерскую, хорошо наладить и потом сдать в библиотеку.

Андрон бледнеет, краснеет и вдруг взвизгивает:

— Ты, понял, меня на понял-понял, понял-нет, не бери, понял!

Тут дядя в своем специальном кресле поворачивается и, ничего не говоря, пристально смотрит на Андрона. Тот съеживается под дядиным взглядом:

— Петр Иванович... все-таки странно, понял, я же эти часы приобрел, понес материальные затраты. Это, понял, личная собственность. При чем тут какая-то библиотека?..

— Ты, шевалье!..— говорит дядя.— Осенью лично натру стакан крахмала из картошки со своего огорода. Лично! Понимаешь, шевалье? Это для тебя большая честь! А сейчас тащи часы. И чтобы одна нога там, другая — здесь!

Андрон со скорбным выражением лица берет свою огромную кошелку, выходит из мастерской. Понуро переходит улицу. Вот его заслонили прохожие.

Я чищу ручные «Кировские», а клиент следит за мной. Боится, наверное, чтобы камни не вытащили, слышал, что они дорогие. Но дороже стоит сама работа — хоть вставить камень, хоть вытащить, потому что он хрупкий, а запрессован прочно. Самому же камню цена — копейки. Так кто же станет делать сторублевую работу, чтобы копеечный камень вытащить? Ну, скажем, вытащил я у него камень, а дальше что? Без камня часы идти не будут, как я их возвращу? И все-таки среди клиентов прочно живет легенда, что в мастерской из часов камни вытаскивают. Легенды эти разные халтурщики рожают, вроде Пятиногина из Щучьего. И у нас в городе мастера такие есть. Положит на верстак зеркало, а на него — механизм. Колесики в зеркале отражаются, клиенты думают, что в этом какой-то секрет, а это ерунда сплошная. Часы ремонтируют на обыкновенном толстом стекле. Он своим зеркалом только тумана напускает, потому что дела по-настоящему не знает. А на тумане далеко не уедешь.

Принесет ли Андрон часы? Должен. Дядю он всегда боялся, а теперь, когда у дяди именной пистолет, и того больше.

Андрон, в самом деле, возвращается с часами. Кладет их на мой верстак, уходит за ширму, наливает в стакан воды: таблетки от язвы принимает, приступ у него разыгрался.

Я осторожно вынимаю из деревянного, разукрашенного завитушками корпуса механизм с деревянными платами. Сделаны они из -красноватого с черными прожилками твердого дерева. Лет двести вращались в них колеса, и стрелки показывали людям время. Возможно, старушкин отец в лучшие свои дни в Петербурге собирался по этим часам на свидание, а потом и сама старушка, то есть и не старушка еще, а красивая девушка спешила под удары этих часов к своему Максимилиану, хотя он и был простой переплетчик. Да мало ли всякого эти часы видели! Мелодично, печально гудит вороненая спираль — пружина боя. Пытаюсь представить мастера, сделавшего часы, и он видится мне почему-то похожим на отца, только в другой одежде.

Почему же часы били неправильно? Так и есть, изготовленный мной из металла рычаг «выел» в деревянной гребенке небольшое углубление. Я пренебрег золотым правилом: изготавливать новую деталь из такого же материала, из какого была изготовлена сломавшаяся. Раз гребенка деревянная, то и рычаг должен быть деревянным. Это же ясно, как солнечный день. Я знал правило, но надеялся на авось. Не было под рукой твердого дерева. Решил, что металл — крепче. Он и вправду крепче, но он испортил гребенку. Теперь уже нужно изготовить новые и рычаг, и гребенку. Это трудно. Это невероятно трудно. Точность нужна огромная. Что ж, буду делать по всем правилам.

Пусть две недели буду делать, пусть в ущерб плану, но сделаю, как надо! Вставлю новые футора, выточу гребенку боя, точно такую же, как была, на молоточек приклею новую кожанку.

Пусть живут эти часы в нашем городе и отсчитывают время новым людям! Пусть стучат по соседству с умными книгами, которые тоже живут много лет, так как и в них кто-то вложил свой труд и сердце.

Я разбираю старый механизм, а настольные, напольные, настенные, ручные и все другие часы в мастерской одобрительно тикают: так-так-так-так!

Борис Николаевич Климычев

ЧАСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С БОЕМ

Повесть

для среднего школьного возраста

Редактор Е. А. Городецкий Художник Ю. М. Ефимов Художественный редактор А. И. Тобух Технический редактор Г. Л. Ефименко Корректоры В. А. К а ш н и к о в а, Р. К. К У к л и н а

ИБ № 1050

Сдано в набор 2807.80 Подписано в печать 190181. МН 05001. Формат 60X84'/i6- Бумага тип № 3. Гарнитура школьная. Печать высокая Усл. печ. л. 9,76. Усл кр-отт. 315 тыс. Уч-изд. л. 10,07. Тираж 30 000 экз. Заказ № 78 Цена 45 к Западносибирское книжное издательство, 630099. Новосибирск, Красный проспект, 32. Полиграфкомбинат, 630007, Новосибирск, Красный проспект, 22.

